

ВИКТОР ВАХШТАЙН

ВООБРАЖАЯ ГОРОД

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ

STUDIA

URBANICA

Studia Urbanica

Виктор Вахштайн

**Воображая город. Введение
в теорию концептуализации**

«НЛО»

2022

УДК 711.424
ББК 85.118.2

Вахштайн В. С.

Воображая город. Введение в теорию концептуализации /
В. С. Вахштайн — «НЛО», 2022 — (Studia Urbanica)

ISBN 978-5-44-481681-3

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВАХШТАЙНОМ ВИКТОРОМ СЕМЕНОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВАХШТАЙНА ВИКТОРА СЕМЕНОВИЧА. Внутри устоявшегося языка описания, которым пользуются современные урбанисты и социологи, сформировались определенные модели мышления о городе – иными словами, концептуализации. Сегодня понятия, составляющие их фундамент, и сами модели мышления переживают период смысловой «инфляции» и остро нуждаются в серьезной рефлексии. Эта книга о таких концептуализациях: об истории их возникновения и противостояния, о философских основаниях и попытках воплотить их в жизнь. В своем исследовании Виктор Вахштайн показывает, как идеи «локального сообщества», «городской повседневности», «территориального контроля», «общественного пространства» и «социальной сегрегации» закреплялись в языке социологов, архитекторов и планировщиков, как из категорий познания превращались в инструменты управления. Теория концептуализации обнаруживает в хаотичном многообразии современных мегаполисов следы созданных исследовательским воображением утопических городов – от Бурдьеполиса до Сьюдад Деланды. Виктор Вахштайн – кандидат социологических наук, MA in sociology Манчестерского университета, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»), декан философско-социологического факультета РАНХиГС.

УДК 711.424

ББК 85.118.2

ISBN 978-5-44-481681-3

© Вахштайн В. С., 2022

© НЛО, 2022

Содержание

Предисловие: трагикомедия поствавилонской урбанистики	7
Глава 1. Введение в эпистемологию города	9
Кэролин Стил и тест на урбанизм	9
Чарльз Лэндри: креативный урбанист посещает Монпелье	9
Жест и метафора: место Москвы в нарративе чиновника	10
Загадка Юго-Запада	14
Концептуальные схемы города (случай Бурдьёполиса)	16
Мала Страна: «Нам-то что? Мы там не живем...»	21
Неспецифичные концептуализации: машина безразличия	28
Контингентность города: «способность быть иным»	31
Общественное пространство: Х. Арентд против И. Гофмана	32
Теракт в городе: действие, факт, сообщение, событие	34
Спорные территории: рациональные горожане?	38
«Эффект Маккензи»: «Яндекс. Пробки» и давка в метро	38
Город: модель для сборки	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Виктор Вахштайн

Воображая город. Введение в теорию концептуализации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Редактор серии О. Паченков

В оформлении обложки использованы фрагмент плана Королевской солеварни в Арк-э-Сенан (архитектор Клод Николя Леду, гравёр Франсуа-Ноэль Селье, 1778–1804); фрагмент плана крепости Пальманова (из атласа Civitates Orbis Terrarum, гравёр и издатель Франс Хогенберг, XVI в.)

© В. Вахштайн, 2022

© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2022

© ООО «Новое литературное обозрение», 2022

* * *

Памяти Теодора Шапина (1930–2020),

זכרונו לברכה

Предисловие: трагикомедия поствавилонской урбанистики

– *Крупные научные силы сосредоточены на несусветном факультете, большая их часть – на кафедре невозможностей. Примеры: цыганская урбанистика или коневодство у ацтеков. Сущность наук, как правило, состоит в выявлении глубинных оснований их ненужности, а для программы несусветного факультета – невозможности.*

– *Как насчет социологии Сахары?*

– *Ничего, – сказал Бельбо.*

– *Очень даже ничего, – веско повторил Диоталлеви.*

У. Эко

Эта книга – не о городе. Эта книга – о том, как мы (социологи, урбанисты и обыватели) его мыслим. В ней практически нет насыщенных описаний городской повседневности и актуальных проблем мегаполиса, а также рецептов, посвященных тому, как сделать жизнь в современном городе лучше. Тема неотвратимо надвигающегося будущего, сметающего старые городские порядки и утверждающего новые, в ней тоже не раскрыта.

Недавний всплеск интереса к урбанистике должен был превратить город в объект теоретической рефлексии, но привел к «инфляции высказываний». Говорить о городе стало легким и ни к чему не обязывающим занятием. Если быть социологом в России означает «думать об обществе», то быть урбанистом – значит «говорить о городе».

В эпоху поствавилонской урбанистики социологические проекты усилиями авторов избавляются от клейма академичности, чтобы получить допуск на медийный и экспертный рынок. Наши публичные обсуждения осциллируют между визионерским ликованием и плачем о неразумности городского устройства. Есть подозрение, что для тех, кто занимается исследованиями города, в аду приготовлен отдельный котел: он заполнен кипящими метафорами, черти непрерывно подкладывают в огонь стратегические документы городского развития, а из плотов грешников вырываются публичные высказывания.

Осознавая всю самоубийственность заявленной задачи, мы попытаемся еще раз поставить вопрос о рефлексии нашего собственного (урбан-социологического) языка описания города. Эта попытка продиктована стремлением выйти за рамки ставших привычными – как социологам, так и обывателям – моделей мышления о городе. Что мы имеем в виду, когда говорим «городская среда»? «Городское пространство»? «Городская идентичность»? «Городские сообщества»? «Городская повседневность»? Осталось ли у этих слов хоть какое-то самостоятельное содержание? Или это просто клише, исправно изготавливаемые социологами для экспертов, чья единственная задача – придавать наукообразный вид политическим решениям и удерживать внимание больших аудиторий?

Второе предупреждение касается отсутствия в этой книге актуальных, надежных и неоспоримых социологических данных, которые можно было бы использовать в качестве подножного корма при написании диплома, статьи или тезисов выступления. Парадокс современных городских исследований состоит в том, что чем больше данных собирается ежегодно – о качестве городской среды, доступности инфраструктуры, локальных сообществах и идентичности горожан – тем меньше производится инструментов интерпретации этих данных. Без теоретической рефлексии городская социология превратилась в техническую дисциплину. Так было не всегда. В конце XIX – начале XX века вся социология (обязанная самим фактом своего рождения стремительной урбанизации) была, по сути, наукой о городской жизни. Трудно найти хотя бы одного классика нашей дисциплины, который намеренно вынес бы за скобки

городскую проблематику. Однако со второй половины прошлого столетия, с закатом Чикагской школы, пути социальной теории и урбанистики разошлись. Сегодня требуется приложить специальное усилие, чтобы соединить их. Эта книга посвящена тому, как социологические идеи (теория сообществ, «поворот к практике», фрейм-анализ, витгенштейнианская социология, «поворот к материальному», социальная топология, акторно-сетевая теория, теория ассамблей и т. д.) меняют привычные представления о городской жизни и городском пространстве, которые разделяет большинство из нас.

Наконец, третье и последнее предупреждение относится к структуре и жанру данного текста. Чтобы преодолеть границы некоторого способа говорить и мыслить, этот способ нужно воспроизвести, а затем подвергнуть рефлексивному анализу. Для такого анализа необходим иной способ говорить и мыслить, который будет находиться в метапозиции по отношению к первому. Но чтобы отрефлексировать подобную метапозицию, потребуется метаязык и так *ad infinitum*. Это традиционное обвинение в адрес любого исследования языков описания. Далее я попытаюсь показать, что возгонка метаописаний не отдаляет, а, напротив, приближает нас к объекту анализа (городу); это движение не вверх, а вперед. Побочным эффектом выбранной стратегии оказывается не только инверсия повествования, но и непреодолимая стилистическая неконсистентность. Автора можно одинаково справедливо обвинить и в поверхностной публицистичности, и в неоправданных философских отступлениях.

Но такова та цена, которую нам придется заплатить за возвращение словам смысла.

Глава 1. Введение в эпистемологию города

Кэролин Стил и тест на урбанизм

Каждое существо безмолвно взывает о том, чтобы его прочли по-иному...

С. Вейль

Как мы мыслим город? Как гигантский контейнер, наполненный людьми, зданиями, машинами и деньгами? Как текст, требующий компетентной и скрупулезной интерпретации? Как двигатель, в котором все элементы взаимосвязаны, а энергия преобразуется в работу с определенным коэффициентом полезного действия? Как поле боя, театральную сцену или шахматную доску? Когда в мае 1952 года в городе Баффало умер Л. Вирт – один из самых ярких представителей Чикагской школы в социологии и автор бессмертной работы «Урбанизм как образ жизни» [Вирт 2016] – журнал *Time* разместил следующий некролог: «...в возрасте 54 лет скончался от сердечного приступа доктор Луис Вирт, социолог из Чикагского университета, считавший современный большой город одним из печальнейших порождений цивилизации и однажды сказавший: „Или мы подчиним этот угрожающе сложный организм, или он нас раздавит“» [Time 1952: 47, цит. по Николаев 2005: 4]. Сам Вирт вряд ли был повинен в чрезмерной эксплуатации метафоры «Город как Животное». Напротив, его работы сегодня становятся источником новых теоретических инсайтов именно потому, что способствуют решению стоящей перед современными урбанистами и социологами задачи: *научиться мыслить город иначе*. Но безупречная в своей пошлости метафора «Город как Животное» навязала автору некролога образ гигантского живого организма, требующего укрощения, одомашнивания и ухода.

Откуда берутся такие метафоры? Диктуют ли их сами города? И тогда Чикаго – это действительно большой организм, Иерусалим – текст, Нью-Йорк – поле боя, Детройт – (сломанный) двигатель, Пермь (в недавнем прошлом) – театральные подмостки, а Пенза – видимо, контейнер (с людьми и зданиями, но без денег). Если так, то задача исследователя – вчитаться в город, увидеть за наслоениями повседневных рутин, неспецифичных элементов, случайных событий и вездесущих отпечатков глобализации то, что и составляет его собственную, скрытую от взгляда горожанина, «подлинную сущность».

Чарльз Лэндри: креативный урбанист посещает Монпелье

Монпелье – восьмой по величине город Франции, любимый туристами за множество хорошо сохранившихся памятников архитектуры и характерный южно-французский колорит. Однако посетивший его в конце XX века Чарльз Лэндри – создатель концепции «креативного города» и звезда урбанистического консалтинга – сразу же разглядел в нем нечто большее:

Посещение Монпелье показывает, насколько легко может город поведать о своих приоритетах. Знак в аэропорту приветствует гостей на дюжине языков, что означает: «Монпелье – международный город». По дороге в центр знаки рассказывают о планах посадки деревьев и создании велосипедных дорожек. По сути дела, тебе сообщают: «Монпелье – экологический город». Дальше путь проходит через кварталы, где улицы носят имена Альберта Эйнштейна и Альфреда Нобеля. Вывод напрашивается: «Монпелье – город новых технологий». На центральной площади стоит диагностический автофургон,

провозглашающий: «Монпелье – здоровый город». Действительно, как выяснилось в ходе бесед с городским руководством, ключевые стратегии Монпелье – стать международным, инновационным, экологичным и здоровым городом [Лэндри 2011: 33].

Способность читать город именно таким образом вызывает одновременно восхищение и подозрение. Посетивший Монпелье за двести лет до Чарльза Лэндри Денис Фонвизин прочитал этот город несколько иначе: «Монпелье можно назвать по справедливости больницей, но такую, где живут уже выздоравливающие. Как приятно видеть людей, у коих на лице изображена радость, ощущаемая при возвращении здоровья» (не преминув, впрочем, добавить, что улицы города «узкие и скверны») [Фонвизин 2012: 127].

Являются ли лица людей и названия улиц в равной степени знаками? Что позволяет Лэндри с такой легкостью их интерпретировать? К примеру, гигантское кладбище на въезде в Нью-Йорк (через которое проходит основная дорога от аэропорта JFK) – это знак: «Нью-Йорк – мертвый город»? Лэндри собрал свой коллаж знаков до или после того, как поговорил с пригласившими его в Монпелье городскими властями? И если бы он был не успешным городским консультантом, а русской туристкой, не владеющей французским (их отчетами о поездках в Монпелье пестрят видеоблоги), то на что он обратил бы внимание: на планы посадки деревьев или на количество иммигрантов на улицах?

Урбанист-интерпретатор свято верит в то, что у города есть своя собственная подлинная сущность, которую он может разглядеть в «знаках» и выразить в тексте. Но, возможно, верно как раз обратное: город не навязывает нам способов мышления о нем. У него нет никакой скрытой внутренней сущности, которая являла бы себя в метафорах его описания. Напротив, наши способы воображения предшествуют воображаемому. Тот язык, который мы выбираем для своего понимания города (и места этого города в мире), не берется непосредственно из самих городских реалий.

Жест и метафора: место Москвы в нарративе чиновника

Если верить когнитивным лингвистам Дж. Лакоффу и М. Джонсону, хотя метафоры напрямую не связаны с реальностью, они не сводятся исключительно к языку. Наиболее фундаментальные имеют свои собственные «эмпирические основания» в мире – например, в человеческой телесности. Тело всегда некоторым образом ориентировано в пространстве, что задает метафорическую матрицу концептов, связанных

...с пространственной ориентацией, с противопоставлениями типа «верх – низ», «внутри – снаружи», «передняя сторона – задняя сторона», «глубокий – мелкий», «центральный – периферийный». Подобные ориентационные противопоставления проистекают из того, что наше тело обладает определенными свойствами и функционирует определенным образом в окружающем нас физическом мире [Лакофф, Джонсон 2004: 118].

Мы можем говорить о «местах» лишь постольку, поскольку обладаем пространственно ориентированным телом.

Пятнадцать лет назад мы с коллегами интервьюировали руководителей одного крупного федерального ведомства, включавшего в себя более тысячи региональных и территориальных отделений «на местах». Практически все они использовали в интервью выражение «люди, там, в регионах [работают]». Но некоторые на этой фразе описывали рукой широкий круг, указывая в направлении регионов, видимо, расходящихся концентрическими кругами вокруг здания министерства. Другие показывали пальцем вниз: собственное рабочее место чиновника

маркировалось ими как вершина пирамиды регионов, в которых – подобно гномам в подземелье – работают сотрудники региональных филиалов и территориальных отделений.

Оппозиции «верх – низ» и «центр – периферия» распространены в повседневных описаниях столичного города; они могут оставаться имплицитными или выражаться эксплицитно. Но можем ли мы заключить, что сама «столичность» Москвы заставляет говорящего применять к ней именно такую метафорику? Отражают ли эти ориентационные оппозиции некоторую подлинную сущность столицы? Ничуть. Лакофф и Джонсон указывают на нашу способность различать центры и периферии как на производную от нашей телесности, а не от реально существующих в пространстве периферий и центров. И даже если такое теоретическое решение кажется нам неудовлетворительным (поскольку поиск «эмпирических оснований» метафор в теле выглядит почти столь же неубедительно, как и обнаружение их в самом объекте описания), стоит выучить урок когнитивной лингвистики. Тот факт, что федеральный чиновник естественным образом воспринимает столицу в качестве абсолютного центра страны, характеризует не столько Москву, сколько картину мира и модели пространственного воображения определенной профессиональной группы.

Однако если мы предположим, что наш способ мышления о городе – со всеми его метафорами, категориальным членением, моделями репрезентации и ресурсами воображения – не порожден самим городом, а, наоборот, наше понимание города зависит от того, как мы его «кодируем» и «переводим», то появится новая развилка. Кто «мы»? Федеральные и городские чиновники? Горожане? Исследователи? Об этом пойдет речь далее. Пока же введем принципиальное различие, без которого дальнейшее изложение потеряет смысл.

Представим врача, который задает больному вопрос: «Как вы себя сегодня чувствуете?» – и параллельно описывает симптомы его болезни в медицинской карте. Больной перечисляет свои недуги – врач согласно кивает, задает уточняющие вопросы, ободряюще улыбается и делает записи. Перед нами две параллельно разворачивающиеся языковые игры: одна из них – коммуникация врача и больного, другая – профессиональная игра «заполнение медицинской карты», «описание симптомов». Однако две эти игры герметичны и взаимонепроницаемы.

Двадцать лет назад автор этой книги оказался в роли психолога-практиканта, наблюдающего диалог врача-психиатра и пациента в психиатрической клинике. Больной указывал поочередно на грудь и предплечье, повторяя: «Доктор, у меня вот здесь херчит, а тут – скубется». Практикант добросовестно записал в дневнике наблюдений: «18.11.98. 14:30. Пациент Б. М.: херчит, скубется». Доктор все это время поддерживал коммуникацию, задавал дополнительные вопросы, помечая у себя: «Б. М. Речь спутанная. Устойчивая тенденция к словотворчеству. Резонерство. Шизофазия не наблюдается. Возможны вторичные невротические расстройства: ... Проверить: ...» Предложенное практикантом описание «херчит, скубется», безусловно, не является самостоятельной языковой игрой – это пересказ. Напротив, наблюдения врача обладают свойством самореферентности, поскольку психиатр привычно создает референцию изучаемого объекта в своем языке, его текст представляет собой перевод.

Назовем два типа отношений между языковыми играми перифразом и метаописанием. Психолог-практикант перифразировал речь пациента; предложенное им описание симптомов принадлежит той же конечной области смыслов, что и рассказ больного. Врач, напротив, составил метаописание рассказа пациента; его наблюдения являются не прямым отражением, но референцией симптомов в медицинском языке и подчиняются правилам профессионального перевода¹.

Пример с психологом, пытающимся дать медицинское заключение на языке психически больного пациента, комичен, поскольку в представлении читателя пропасть между текстом

¹ Пример реэкспорта филологических различий в психиатрию см. в [Зислин 2016]. Сам по себе такой междисциплинарный перенос уже является метапереводом.

больного и текстом специалиста очевидна. Однако ситуация исследователя, который пытается «пересказать» город – так, как это делает Чарльз Лэндри, – или «ретранслировать» нарративы жителей этого города их же словами (как это принято у сторонников «качественных методов» в социологии), не менее комична. Каждый раз, говоря о метафорах города и способах его представления, мы должны учитывать дистанцию между перифразом и метаописанием.

Язык ученого – это всегда метаязык.

Подобные вопросы и развилки составляют предмет анализа городской эпистемологии – дисциплины, призванной ответить на вопрос, *как мы мыслим город* [Brenner, Schmid 2015; Трубина 2011]. Теперь нам, правда, придется постоянно удерживать в голове разницу этих «мы» – горожан/исследователей – и отказаться от претензий на выражение скрытой сущности города в своих нарративах.

Так как же устроено мышление о городе?

Начнем с небольшого мысленного эксперимента, материалом для которого послужит аннотация к книге известного английского урбаниста Кэролин Стил [Стил 2014]. Сделаем из этого фрагмента тест неоконченных предложений:

...Закройте глаза и представьте себе город. Что вам видится? Уходящие к горизонту ряды крыш? Сутолока на Пикадилли? Манхэттенские небоскребы? Улица, на которой вы живете? Так или иначе, на этой воображаемой картине будут здания. В конце концов, именно из них состоят города – а еще из улиц и площадей, соединяющих здания между собой...

Попробуйте продолжить этот нарратив и написать следующий абзац, ответив на вопрос Стил – причем используя предложенный ею же метод «урбанистической интроспекции»; закройте глаза и представьте себе город. В сущности, у вас всего несколько вариантов.

1. Например, такой: «Как человек, проживший двадцать лет в Москве, закрывая глаза, я вижу город, состоящий из зданий и улиц, из людей, спускающихся в подземный переход. Я вижу переполненный вагон метро и пробку на Ленинградке. Я вижу офис, в котором провожу значительную часть жизни. Я вижу интерьеры кафе, в котором пишу, и интерьеры ресторана, в котором встречаюсь с партнерами. Я вижу парк музея „Коломенское“, где пытаюсь спрятаться от толпы, и детскую площадку, где гуляю с ребенком. Я вижу магазин, где покупаю сигареты, и свой ежедневный маршрут, проложенный с учетом расположения этого магазина».

В таком нарративе ни один из элементов не является привилегированным. Город – это и здания, и люди, и маршруты, и места, и пробки, и давка, и разговоры с друзьями, и надписи на стенах, и даже состояние перманентной фрустрации. Этот нарратив неконсистентен. Как жителя города, меня не очень волнует вопрос логической связи перечисленных элементов. Мы можем – как это делают социологи этнометодологического толка – аксиоматически заявить о всегда-уже-существующем-в-естественном-состоянии порядке городской жизни [Корбут 2013: 18–20]. А можем – вслед за создателем социальной топологии Джоном Ло – просто вынести вопрос консистентности нашего описания за скобки: город не дан нам в качестве совокупности упорядоченных элементов, зачем тогда стремиться к его упорядоченному описанию [Ло 2015]? Главное, что язык здравого смысла легко допускает такой ход. Город – это то, что дано нам в ощущениях. И, закрывая глаза, мы можем попытаться выразить свои ощущения в категориях обыденного языка. Вот только получившийся нарратив будет глубоко тавтологичен – он не требует от пишущего никакого смещения внимания, никакой рефокусировки, никакого теоретического решения. В конечном итоге для горожанина город – это просто город.

2. Вторая опция: мы прибегаем к формуле «Город – это не только А, В, С, D, но и Х». (Или в более сильной версии: «Город – это не столько А, В, С, D, сколько Х». Но такое решение уже ближе к третьей опции.) Здесь абсолютное первенство принадлежит высказыванию «Города – это не только здания и улицы, но и люди». Такой

ход – обращение к «живым людям» в качестве компонента X – открывает почти безграничные возможности для ввода в игру новых элементов: «Города – это не только здания и улицы, но и живые люди. А люди имеют свойство производить огромное количество отходов. Поэтому наши сегодняшние города – это машины по производству, переработке, утилизации и „инвизибилизации“ все возрастающего количества мусора».

Или: «Города – это не только здания и улицы, но и живые люди. А живым людям, чтобы оставаться живыми, нужно дышать. Для этого в городах существуют зеленые зоны – островки урбанизированной природы в каменных джунглях».

Это тривиальные решения. Есть и более оригинальные. Например, предложение самой Кэролин Стил. Приведенный выше фрагмент она завершает так: «Но город – это не только кирпич и бетон: он населен живыми людьми, и потому зависит от природы, которая дает им пищу. Города, как и люди, – это то, что они едят». Теперь мы знаем, что «города едят» и без еды портрет города неполон.

Такой нарратив не тавтологичен. Как минимум один элемент в описании выводится на первый план, наделяется привилегированным положением. Еда, деревья и мусор, о которых вы вряд ли подумали в первую очередь, закрыв глаза вслед за Кэролин Стил, тем не менее делают город городом. Операция, предложенная в этом нарративе, называется синтагматическим смещением. Автор сместил ваше внимание с улиц и домов на еду, просто добавив ее к домам и улицам. Синтагма в семиотике [Greimas, Courtés 1982] (а теперь и в социологии [Høstaker 2005]) – то, что предполагает продолжение ряда элементов посредством оператора И. Города – это и дома, и улицы, и люди, и еда, и мусор, и сообщества, и менеджмент, и ландшафт, и транспорт...

Ряд должен быть продолжен. Апелляция к живым людям в качестве универсального ингредиента города вовсе не обязательна. Есть множество других элементов, на которые смещают внимание читателя авторы: «Города – это не только здания и улицы, города – это еще и физический ландшафт. Город с рекой и без реки – это два очень разных города. Город на холме и город на равнине принципиально различны...»

«Города – это не только видимая глазу инфраструктура вроде зданий и транспорта. Под каждым большим городом обнаруживается лабиринт подземных коммуникаций – труб, кабелей и заброшенных туннелей. Всякий видимый город – лишь верхушка айсберга...»

«Города – это не только материальная инфраструктура, но и запахи, звуки, температура и свет. То, как пахнет в городе, – неотъемлемая его часть. Равно как и шум, а также тепловое и световое загрязнение...»

«Города – это не только люди и инфраструктура, это бесчисленное количество образов, окружающих нас ежедневно. Карты, фотографии в Instagram, граффити, открытки и реклама – все это составляет значительную часть современного городского ландшафта...»

Задача синтагматического смещения – не порвать со здравым смыслом, а остраннить его, добавить еще одно измерение к привычному обывательскому взгляду на город путем простого включения в городскую формулу описания ряда элементов, «ускользающих от взгляда обычного горожанина». Впрочем, подобный нарратив остается таким же логически неконсистентным, как и язык здравого смысла. Кэролин Стил не нужна теория еды, чтобы добавить еду к людям и зданиям. Скотту Маккуайру не нужна медиатеория, чтобы добавить к городу его «умножающиеся визуальные репрезентации» [Маккуайр 2014]. Чарльзу Лэндри не требуется теория креативности, чтобы добавить к жителям креативность, а к зданиям – шлейф истории и культуры [Лэндри 2011]. Операцию синтагматического смещения можно провести, вообще не покидая пределов языка здравого смысла – по счастью, этот язык содержит в себе бесконечные ресурсы самоостраннения.

3. Наконец, третья опция – наиболее радикальная. В отличие от двух предыдущих, она предполагает, что у нас есть какой-то иной язык, кроме языка здравого смысла, и мы способны дать – логически consistente – определение городу в категориях этого языка. Но такой ход основывается не на синтагматическом смещении (оператор И), а на парадигматическом сдвиге (оператор ИЛИ). И тогда мы мыслим по формуле: «Город – это не А, не В, не С, не D, а X».

Загадка Юго-Запада

Многим из тех, кто пытался купить или снять квартиру в Москве, хорошо известен феномен Юго-Запада. Не выделяющийся существенно ни по качеству жилого фонда, ни по транспортной доступности кластер районов тем не менее заметно выделяется по стоимости жилья. Для Москвы, где цена квартиры напрямую зависит от расстояния до центра, это почти пространственная аномалия.

Географ мог бы объяснить эту аномалию указанием на специфику ландшафта, розу ветров или экологические условия (на Юго-Востоке – заводы, на Юго-Западе – университеты). Социолог Ольга Трущенко находит нетривиальное объяснение феномена Юго-Запада:

Средневековое социальное разделение города на западную и восточную часть, по всей видимости, положило начало одной из особенностей столичной сегрегации. На протяжении дальнейшей истории тенденция к социальному противостоянию запада и востока Москвы выражала в пространственных формах дистанцию и противоположность между властвующими и простонародными слоями общества. Изначальная социальная противоположность запада востоку, Кремля Китай-городу, по мере роста Москвы повторила себя в полукольце Белого города. В западной части Белого города, в Занеглименье, в XIV веке стоял двор великой княгини и другие дворы, принадлежавшие приближенным к великому князю боярам [Памятники 1989: 11], в то время как «восточная сторона Белого города образовалась отчасти из торговых, но более всего из ремесленных слобод» [Никольский 1991: 29] [Трущенко 1995: 21].

Таким образом, чуть ли не с момента основания города знать селилась «на запад», а чернь – «на восток» от центра. По мере роста Москвы социальному противостоянию по линии «запад – восток» добавилась сегрегация «центр – периферия». Однако юго-западные окраины по престижности почти не уступают центру – сохраняется символическая ценность западного направления. В итоге

к XVII веку основными пространствами расселения властителей государства и верхушки правящих сословий, боярства и духовенства оставались Кремль и местности к западу и юго-западу от него в Белом и Земляном городах [там же: 22].

Самое интересное здесь то, что даже «на протяжении советского периода в столичном расселении воспроизводились основополагающие тенденции социального противостояния запада востоку, а точнее юго-запада юго-востоку, и центра окраинам» [там же: 39]. Новая советская элита, выбирая место для жилья, ориентировалась на символическую разметку пространства, произведенную прежним политическим режимом:

То, что в основе советского сценария столичной сегрегации лежали, как и в предшествующий исторический период, тенденции социального деления пространства на запад – восток (юго-запад – юго-восток) и центр – окраины, наглядно демонстрирует анализ территориальной привязки крупных массивов

жилья, выстроенных для номенклатуры начиная с 30-х годов и до 80-х [Трущенко 1995: 40].

Разные социальные группы обладают разными ресурсами, и в том числе разным престижем. Они маркируют одни пространства как «престижные», а другие – как «непрестижные». Эти различия могут воспроизводиться в пространстве даже при самых радикальных преобразованиях общественного строя.

Приведенное выше исследование Ольги Трущенко представляет для нас даже бóльший интерес, чем предмет этого исследования. На первый взгляд, автор действует не как социолог, а как историк: изучает архивные документы, карты и ранние статистические сборники. Это первая ошибка в интерпретации. «Социологическим», «экономическим», «историческим» или «географическим» текст делает не метод (что бы ни подразумевалось под этим размытым понятием), а язык описания, который предшествует самому описанию. Вторая возможная ошибка интерпретации – синтагматически добавить элемент «сегрегация» к множеству уже имеющихся элементов «Москва». Трущенко – не урбанист, она не производит синтагматического смещения внимания читателя на еще один элемент X – сегрегацию. Она совершает радикальный парадигматический сдвиг. Для нее город – это не здания, не районы, не ландшафт, не индустриальное производство и даже не «живые люди», *а результат объективации социального пространства (т. е. пространства социальных сходств и различий) в пространстве физическом.*

Таким способом мышления о городе социологи обязаны Пьеру Бурдьё. Когда Трущенко пишет «тенденция к социальному противостоянию запада и востока Москвы выражала в пространственных формах дистанцию и противоположность между властвующими и простонародными слоями общества» [там же: 21], в ее тексте (в форме концептуальных оппозиций) выражает себя знаменитая формула Бурдьё:

физическое пространство есть социальная конструкция и проекция социального пространства, социальная структура в объективированном состоянии [Бурдьё 1993: 53].

Если город – проекция социальной структуры, то текст Трущенко – проекция бурдьевистского теоретического языка. Сам Бурдьё никогда не был в Москве и мало что знал об этом городе. Но созданный им способ мышления – в том числе способ мышления о городах – позволил российской исследовательнице выразить Москву в предложенной концептуальной схеме и увидеть что-то, что раньше ускользало от взгляда социологов. Главное, помнить: концептуализация города – не пересказ, а перевод. В этом и состоит смысл третьей опции – парадигматического сдвига, отказа от синтагматического и тавтологического решения.

В следующем разделе мы еще вернемся к элементам концептуализации города у Бурдьё, а пока подведем итоги теста на урбанизм им. Кэролин Стил.

1. Если, закрыв глаза и описав город (как того требовали правила игры), вы прибегли к тавтологическому нарративу – все в порядке, вы нормальный горожанин, которому вполне хватает языка здравого смысла для понимания города.

2. Если вы использовали синтагматическое решение («города – это люди, пробки, грязь, а еще коррупция и безработица»), вы – по всей видимости – урбанист.

3. Если попытались предложить консистентную концептуализацию города – вы, скорее всего, ученый, которому для понимания города самого города недостаточно.

Далее мы сфокусируемся именно на третьем решении.

Концептуальные схемы города (случай Бурдьёполиса)

Быть знатной дамой значит играть роль знатной дамы, то есть, между прочим, играть простоту. Игра эта стоит безумно дорого, тем более что простота способна восхищать только при условии, если другие знают, что вы могли бы не быть простым, то есть когда вы очень богаты.

М. Пруст

Границы моего города – суть границы моего языка.

Соответственно, первая задача исследователя – «схватить» объект в категориях и различениях своей теоретической модели. Этот процесс (равно как и его результат) называется концептуализацией. По версии Г. С. Батыгина [Батыгин 2008], образцовый пример концептуализации содержится в сказке Х. К. Андерсена «Принцесса на горошине».

Напомним вкратце сюжет этого великого эпистемологического произведения. Король оказался в сложной исследовательской ситуации: к нему ночью в дом постучался эмпирический объект и назвал себя принцессой. Семье предстояло организовать серию исследовательских мероприятий, чтобы удостовериться в наличии у объекта признака принцесности. Старая королева, руководитель проекта, предложила сильное теоретическое решение. Она концептуализировала принцесность через наличие двух конститутивных свойств:

а) изнеженности (предположительно принцесса – существо, живущее во дворце в ситуации гипертрофированного личного комфорта, что не могло не сказаться на ее телесном габитусе);

б) избалованности (принцесса живет не только в обстоятельствах физического комфорта, но и в ситуации ослабленного социального контроля при тотальном попустительстве, которое должно было сформировать у нее безразличие к мнению и чувствам окружающих; таким образом, принцессу отличают плохие манеры).

Структура подобного концептуального определения принцесности выглядит следующим образом:



Схема 1. Концептуализация принцесности

С этого момента исследователь должен считать принцессой любой объект, обладающий свойствами телесной изнеженности и плохими манерами. На следующем этапе (операционализация) королева находит интересное методическое решение, позволяющее схватить наличие обоих этих признаков посредством нетривиального экспериментального плана. Она оказывает исследовательское воздействие (подкладывает горошину под двадцать тюфяков и двадцать перин), после чего – на утро – производит замер, задавая бесхитрый вопрос: «Как вам спалось?». Если эмпирический объект достаточно изнежен, чтобы почувствовать горошину, и достаточно плохо воспитан, чтобы сказать об этом хозяевам, то он обладает обоими необходимыми признаками, которые и конституируют его в качестве принцессы (согласно данной выше базовой дефиниции предмета) (схема 2).

Но, допустим, старая королева воспользовалась бы иной концептуализацией. Что, если принцессу делает принцессой как раз противоречивое сочетание телесной изнеженности и готовности непоколебимо следовать дворцовому этикету? Если в основу концептуализации мы положим не образ капризных принцесс эпохи раннего Средневековья, а пример облаченной в железную клетку хороших манер принцессы Вильгельмины Шарлотты Каролины Бранденбург-Ансбахской?

Тогда наша концептуализация будет выглядеть принципиально иначе (схема 3).

Теперь дешевым экспериментом с горошиной отделаться не удастся, потому что если испытуемая на утро скажет: «Я прекрасно спала!», это может в равной степени означать и то, что она хорошо воспитана, и то, что она толстокожая простолюдинка, выдающая себя за особу королевских кровей. (А заодно нам становятся заметны недочеты предыдущей концептуализации. Если испытуемая отвечает: «Ах, ужасно плохо! Я всю ночь не сомкнула глаз. Б-г знает, что там у меня было в постели! Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках!», это еще не означает, что она действительно плохо спала. Может быть, она просто демонстрирует дурные манеры без соответствующего основания в виде эмпирических ночных страданий.) Для такой модели концептуализации потребуются два операнта и два замера. Нужно, чтобы кто-то ночью подсматривал – то есть осуществлял скрытое формализованное наблюдение, – подсчитывая количество вздохов и иных наблюдаемых признаков бессонницы. И только при сочетании двух положительных результатов измерения (не сомкнула глаз + наутро заявила, что хорошо спала) мы сможем удостовериться в наличии у объекта концептуально сконструированного признака принцесности.

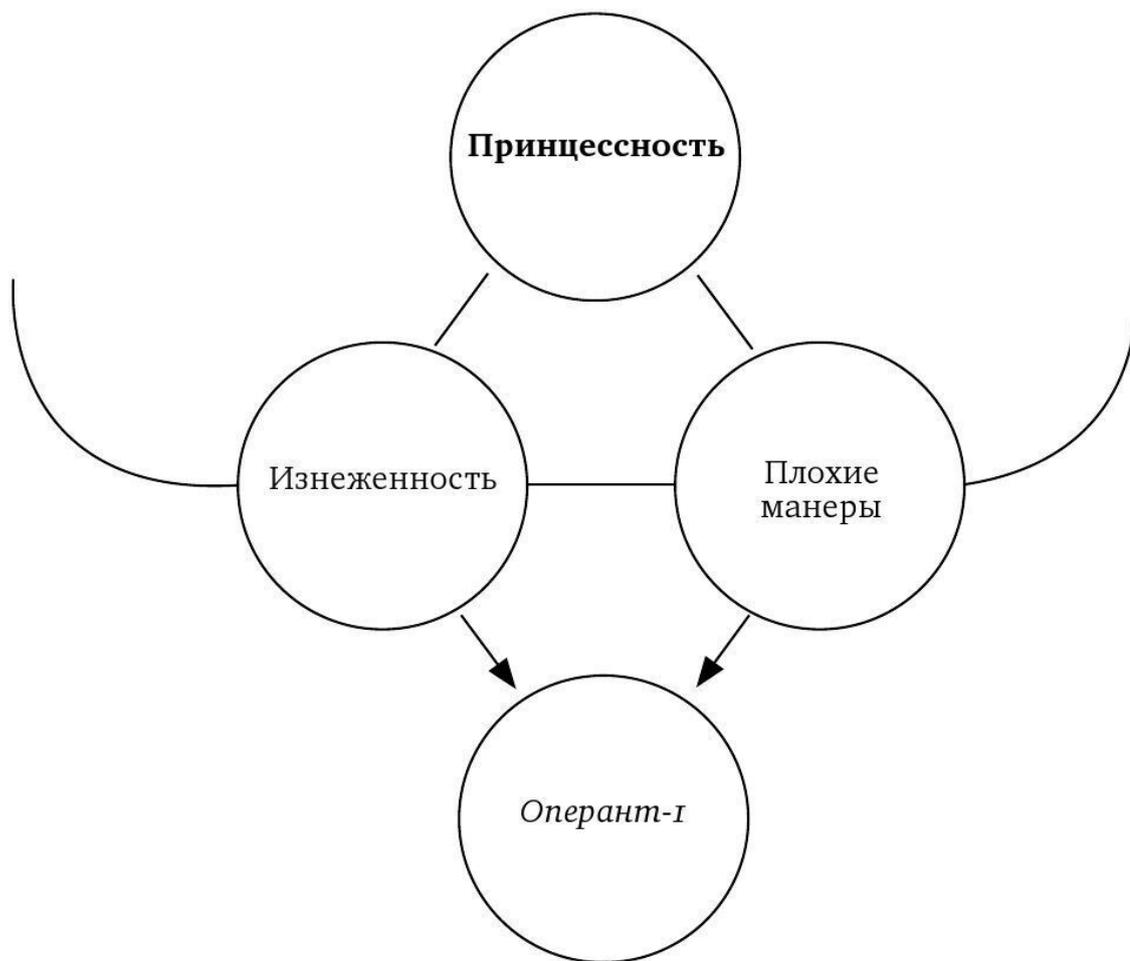


Схема 2. Операционализация принцесности

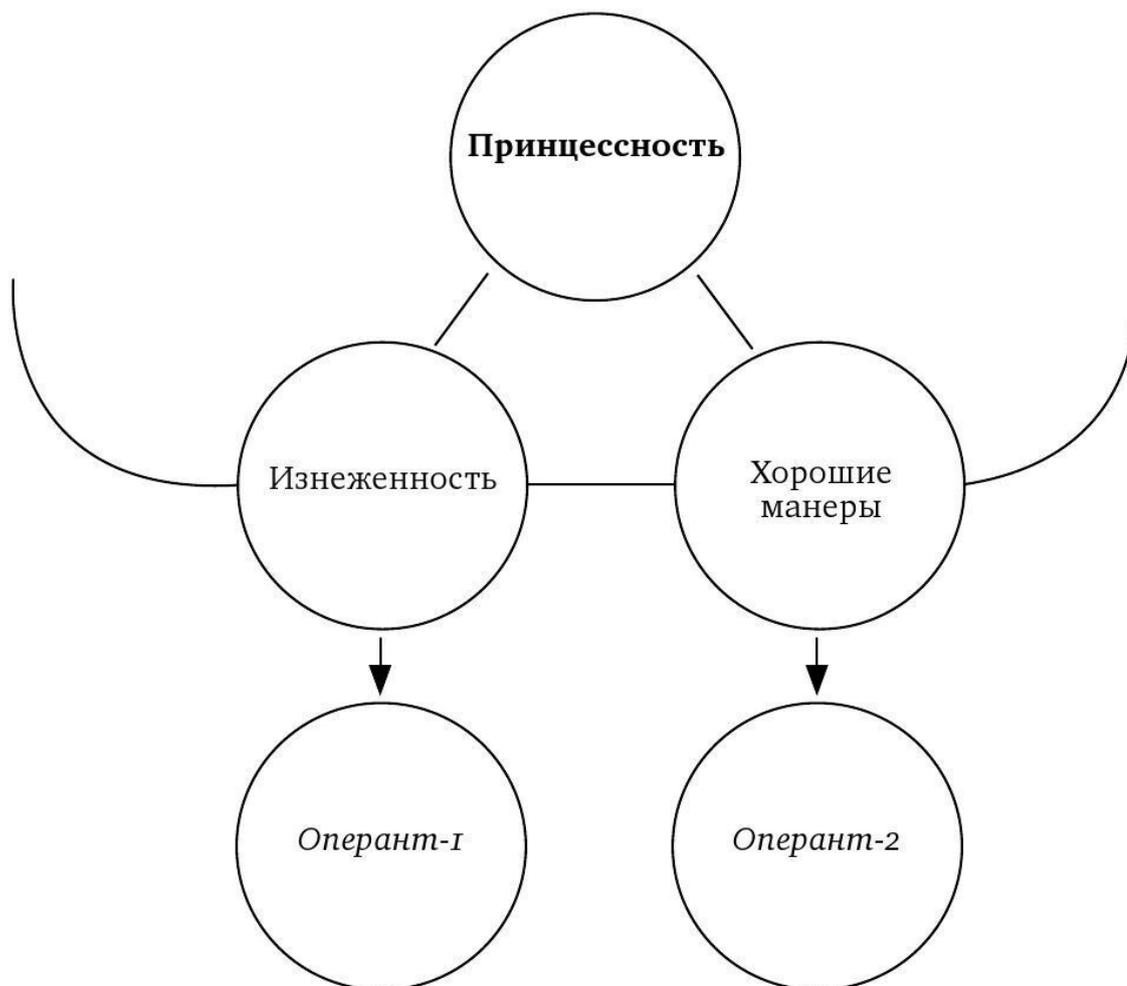


Схема 3. Альтернативная модель исследования принцесности

Как видим, исходная концептуализация объекта задает не только границы интерпретации собранных данных, но и диктует саму структуру их сбора (так называемую методическую архитектуру исследования).

Но вернемся к городу.

Посмотрим еще раз на Москву в оптике, предложенной П. Бурдьё и О. Трусенко. Что мы видим теперь?

1. Социальных агентов – коллективных (знать, чернь) и индивидуальных (князь) – которые находятся друг с другом в напряженных динамических отношениях.

2. Социальные отношения – силовые и смысловые, синхронные (простолюдины / дворяне) и диахронные (старая аристократия / новая номенклатура) – которые связывают разных агентов.

3. Ресурсы – блага (материальные, символические, культурные etc.), которые размещены в физическом пространстве и за которые борются агенты.

4. Социальные практики (производства, присвоения, символической номинации, легитимации, инвизиблизации etc.) – то, что делают агенты, используя доступные им ресурсы.

5. Физическое пространство – конкретные места, в которых размещены агенты и ресурсы.

Физический город становится ареной борьбы агентов и – одновременно – восковой табличкой, на которой оставляют следы их практики. Закрывая глаза, по примеру Кэролин Стил, бурдьевист не видит Парижа – он видит индивидуальных агентов (студентов, художников и куртизанок), вытесненных коллективным агентом (буржуазией) с левого берега Сены на окраину города, холм Монмартр, где происходит образование нового коллективного агента

(богема) в практиках физического освоения / символического присвоения территории и производства нового культурного ресурса. Затем он видит, как коллективный агент буржуазия в попытке захвата этого культурного ресурса перебирается на Монмартр (используя доступные ему экономические ресурсы), в результате чего цены на аренду поднимаются и владельцы культурного капитала вынуждены в очередной раз мигрировать. По-видимому, недавний захват части южного Гарлема нью-йоркскими хипстерами, в результате которого на авеню Мартина Лютера Кинга и Малкольма Х (символическая маркировка пространства обитателями черных гетто) теперь открылись модные кофейни с дорогим, но по-прежнему безвкусным кофе (новая символическая маркировка), может быть описан в тех же категориях.

Именно эти различия позволяют Ольге Трущенко, изучая историю сегрегации в Москве, разгадать загадку Юго-Запада. «На самом деле, – замечает Бурдьё, – социальное пространство стремится преобразоваться более или менее строгим образом в физическое пространство с помощью удаления или депортации некоторых людей – операций неизбежно очень дорогостоящих» [Бурдьё 1993: 50]. Заметим, что первые четыре из пяти перечисленных выше конститутивных признаков города относятся к «социальному пространству», понятому как пространство социальных позиций / отношений, и только последний – к пространству физическому, которое лишено собственного содержания и тем более каузальной силы:

В иерархически организованном обществе не существует пространства, которое не было бы иерархизировано и не выражало бы иерархии и социальные дистанции в более или менее деформированном, а главное, в замаскированном виде вследствие действия натурализации, вызывающей устойчивое отнесение социальных реальностей к физическому миру [там же: 51].

Можем ли мы в этой оптике увидеть городской ландшафт «сам по себе»? Существуют ли в городе реки, холмы, пруды и овраги? Существуют, но исключительно как производные от практик присвоения и социального конструирования:

Социальное пространство – не физическое пространство, но оно стремится реализоваться в нем более или менее полно и точно. Это объясняет то, что нам так трудно осмысливать его именно как физическое. То пространство, в котором мы обитаем и которое мы познаем, является социально размеченным и сконструированным. Физическое пространство не может мыслиться в таком своем качестве иначе, как через абстракцию (физическая география), т. е. игнорируя решительным образом все, чему оно обязано, являясь обитаемым и присвоенным. Иначе говоря, физическое пространство есть социальная конструкция и проекция социального пространства, социальная структура в объективированном состоянии [там же: 53].

Если вам так уж хочется попытаться вытащить из бурдьевистского языка заложенную в нем концептуализацию именно физического городского пространства, вам придется довольствоваться идеей контейнера, вместителища агентов и ресурсов. Сам Бурдьё, вероятно, радикально возражал бы против такой интерпретации – ньютоновской интуиции пространства-контейнера он решительно противопоставляет лейбницевскую идею пространства отношений, – но цитата говорит сама за себя:

Реализованное физически социальное пространство представляет собой распределение в физическом пространстве различных видов благ и услуг, а также индивидуальных агентов и групп, локализованных физически (как тела, привязанные к постоянному месту) и обладающих возможностями присвоения этих более или менее значительных благ и услуг [Бурдьё 1993: 54].

Реляционным у Бурдьё оказывается только пространство социальное, физическая территория города – контейнер агентов и проекционный экран их отношений и практик. Иногда концептуализация говорит больше, чем хочет сказать ее автор.

Здесь читатель вправе возмутиться (что нередко случается, когда урбанисты читают Бурдьё): как быть с живыми людьми из плоти и крови, с физическим городом из домов и улиц, с реальными проблемами вроде пробок и грязи? Почему реальные субъекты, которые едят, спят и производят отходы, оказались замещены абстрактными социальными агентами, погруженными в социальные отношения и коллективные практики? Но эта критика бессодержательна. «Живые люди» – куда большая абстракция, чем «социальные агенты». Чтобы что-то видеть, нужно чего-то не видеть. Обвинять Бурдьё и Трусенко в «редукционизме» и «абстрактности» – все равно, что обвинять хирурга в том, что его скальпель слишком остро наточен и слишком мало похож на столовый нож. Критиковать концептуализацию можно только за ее собственные внутренние противоречия и неконсистентность. А еще за слишком слабую различительную способность (дискриминативность) и слишком универсальные объяснения, нечувствительные к специфике объекта.

Мала Страна: «Нам-то что? Мы там не живем...»

Туристы в Праге быстро приобретают чувствительность к границам городских районов. Невооруженным глазом видны различия между Старым и Новым местом, между жилыми кварталами Праги V и историческим центром. Но, вероятно, сильнее всего в глаза бросаются различия между архитектурой правого и левого берега реки Влтавы, особенно в районе Карлова моста. На одном берегу реки – «рыночное» Старое место, на другом – «государственническая» Мала Страна.

Мала Страна лежит на склоне холма: от Пражского Града и Градчан до Влтавы. Но, в отличие от торговой части города, застраивалась она не от реки, а от замка. Изначально здесь селился обслуживающий персонал и люди, рассчитывающие на защиту замковых стен в случае нападения. В 1257 году Отакар II принимает стратегическое решение усилить эту территорию за счет более лояльных групп населения. Он приглашает сюда колонистов с севера Германии, выдавливая из города на деревенские окраины всех местных старожилов. Немецкое население составляло абсолютно большинство жителей этого района почти семьсот лет. В XIX веке, привлеченные символическим престижем места, здесь стали селиться наиболее состоятельные чешские семьи, которые – самым фактом переезда на Малу Страну – подчеркивали свою принадлежность к государственной элите.

В годы немецкой оккупации жители района неслучайно оказались наиболее лояльной новым властям частью населения города. Когда в конце войны нацистские пропагандисты расклеили по городу агитационные плакаты с изображением Града и Малой Страны с угрожающе занесенными над ними серпом и молотом и надписью «Захватят – пропадете», кто-то из местных чехов подписал карандашом: «Нам-то что? Мы там не живем».

Последовательный бурдьевист легко разложит историю пражского района на «агентов», «отношения», «практики», «капиталы», «границы», «сегрегацию», «символическое присвоение» и «престиж». Он объяснит – вполне достоверно, – почему до сих пор Мала Страна остается одним из европейских заповедников барокко, благополучно пережив период лютой «реготизации» Праги (когда в результате всплеска национального самосознания в готическом стиле перестраивались даже те исторические здания, которые никогда раньше готическими не были). Кроме того, исследователь-бурдьевист на своем языке сможет объяснить, что такое городская идентичность: не просто чувство идентификации с некоторой территорией, а телесно укорененная, встроенная в категории восприятия и различения, практическая связь с местом. Все

же всякая хорошая концептуализация – это генеративная структура, она порождает все новые и новые различения из нескольких исходно заданных концептов.

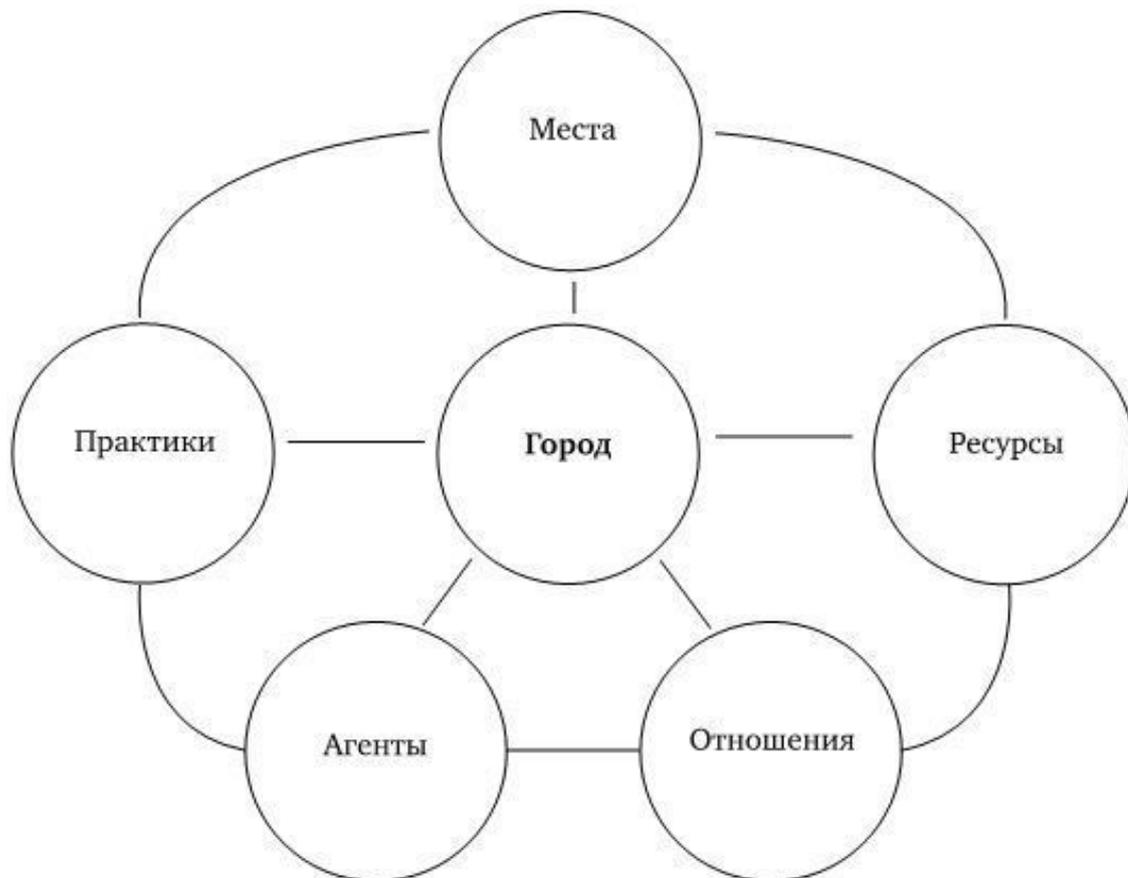


Схема 4. Концептуальное ядро Бурдьёполиса

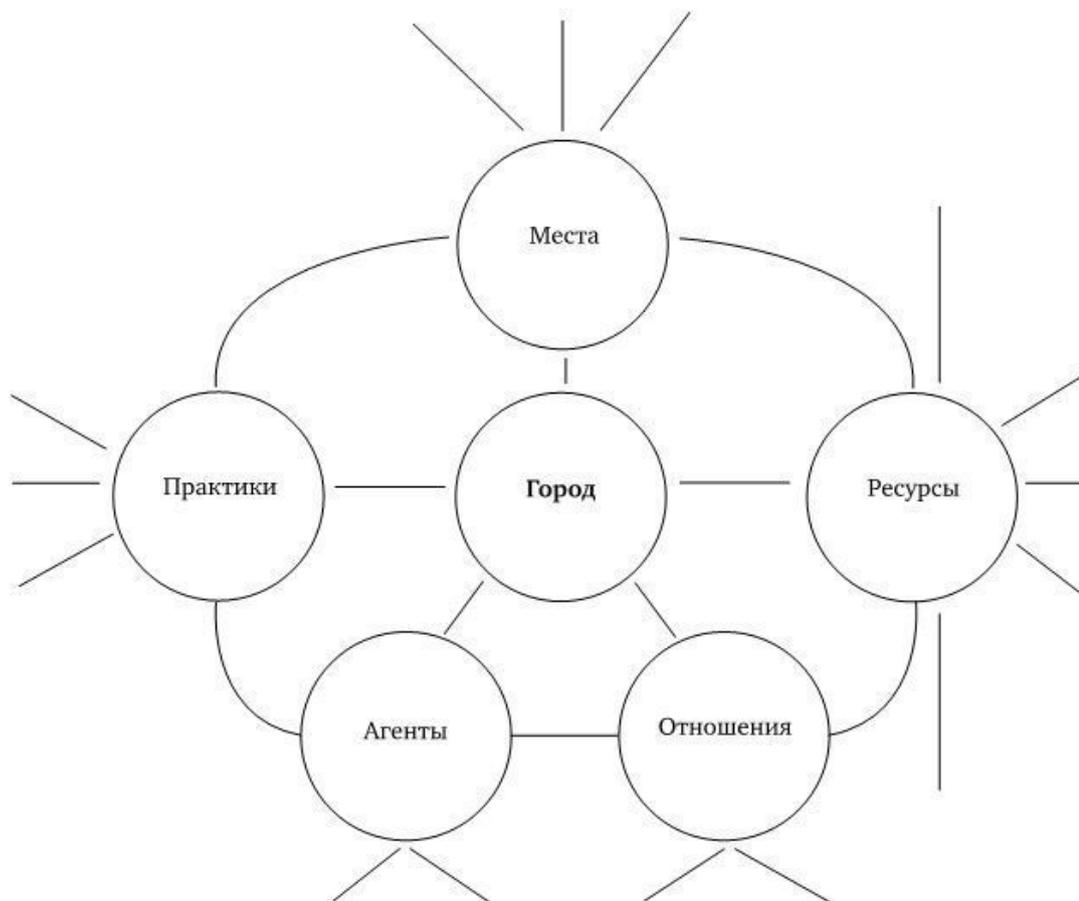


Схема 5. Концепты второй орбиты

Как?

Посмотрим еще раз на бурдьевистскую концептуализацию города (схема 4).

Это так называемые конститутивные признаки, или концепты первой орбиты. Они заданы аксиоматически, их связь – теоретический постулат. Мы видим, что концептуализация Бурдьё предельно консистентна: здесь все связано со всем. Но чтобы концептуализация «оживила», каждому концепту первой орбиты должен быть поставлен в соответствие ряд (также связанных между собой) концептов второй орбиты – различающих, уточняющих, специфицирующих. В конце концов, концептуализация – это не только последовательное определение предмета, но и его аналитическое расчленение, препарирование. Предлагая некоторый образ объекта в системе теоретических координат, мы вместе с перспективой его рассмотрения создаем и возможность фрагментации, дискретизации, разложения на элементы, что позволяет четче выделить единицы будущего исследования. Такие вспомогательные концепты мы далее будем называть дискриминативными.

Первый способ построения системы дискриминативных концептов – вынесение на вторую орбиту предикативных характеристик. Какие агенты? Коллективные и индивидуальные, сплоченные и аморфные, ресурсные и лишенные всего. Какие практики? Присвоение, маркирование, вытеснение, захват, контроль. Какие отношения? Синхронные и диахронные, смысловые и силовые, кооперативные и конфликтные. Какие ресурсы? И так далее.

Вооруженный подобной оптикой исследователь задается вопросом: каковы практики агентов X, пользующихся ресурсами Y, в борьбе за ресурсы Z? Или: как отношения A воспроизводятся в практиках B, объективируясь в пространстве C? Проведя, к примеру, сравнительное исследование расселения московских и питерских коммуналок в 1990-е годы, социолог-бурдьевист сможет объяснить, почему в Питере коммуналки в некоторых центральных

ареалах города сохранились, а в Москве – нет. Потому что в Москве агенты, обладающие административным ресурсом, в коалиции с агентами, обладающими экономическими ресурсами, расселили коммуналки (в терминологии Бурдьё «депортировали некоторые группы людей») в процессе практического учреждения сегмента дорогого элитного жилья в центре столицы. Символический престиж центра и высокая конкуренция экономических элит за символический капитал не оставили коммуналкам ни единого шанса. Такой анализ будет лишен насыщенных этнографических описаний практик жизни в коммунальной квартире [Утехин 2004], зато в нем, скорее всего, будет предложено некоторое подобие строгого «социологического объяснения».

Этот ход – помещение на вторую орбиту предикативных характеристик – чаще всего используется теоретически продвинутыми исследователями-эмпириками. Он позволяет быстро определить направления поиска. Тестируя наличие связи между концептами второй орбиты («Агенты X – Ресурсы Y», «Практики A – Отношения B»), исследователь заготавливает впрок гипотезы, доступные эмпирической проверке. Но это не единственная возможность.

Другой тип дискриминативных концептов – атрибуты. К примеру, у агентов есть тела. Тело не делает агента социальным агентом – таковым его делает нахождение в пространстве соответствующих социальных позиций и включенность в определенные практики социальной жизни. Но, не имея тела, довольно сложно быть включенным в практики. Сами практики имеют историю. История актуализируется в практиках агентов, оставляя отпечаток в их телах. Этот телесный отпечаток и называется габитусом – система приобретенных социальных диспозиций определяет то, как мы открываем дверь, умеем ли пользоваться ножом и вилок, как стоим на эскалаторе. Бурдьё пишет:

Перифразируя Пруста, можно было бы сказать, что ноги и руки полны заостренными императивами. Так что можно составить список ценностей, ставших телом, благодаря транссубстантивации, совершаемой скрытым убеждением имплицитной педагогики, которая способна внушить целую космогонию, этику, метафизику и политику через такие незначительные предписания, как «держись прямо» или «не держи нож в левой руке», и зафиксировать в самых незначимых с виду деталях: одежде, осанке, телесных и вербальных манерах выражения – фундаментальные принципы культурного суждения, остающихся, таким образом, вне осознания и объяснения [Бурдьё 2001: 135].

«Габитус» – концепт второй орбиты, являющийся одновременно атрибутом агентов и их практик. Продолжим эту теоретическую линию: что будет соответствующим концептом второй орбиты для «физического пространства»? Можно ли аналогичным образом мыслить «габитус места»? Да. Бурдьё здесь использует термин «габитат»: «Габитус [habitus] формирует место обитания [habitat] посредством более или менее адекватного социального употребления этого места обитания, которое он [габитус] побуждает из него делать» [Бурдьё 1993: 45]. Габитат связывает практики, места и ресурсы:

Место обитания, как социально квалифицированное физическое место, предоставляет усредненные шансы для присвоения различных материальных и культурных благ и услуг, имеющихся в распоряжении в данный момент. Шансы специфицируются для различных обитателей этой зоны по материальным (деньги, частный транспорт и др.) и культурным способностям присваивать, имеющимся у каждого агента (прислуга испанка из XVI округа Парижа не имеет тех же возможностей присвоить себе блага и услуги, предлагаемые данным округом, что есть у ее хозяина). Можно физически занимать жилище, но, собственно говоря, не жить в нем, если не располагаешь

негласно требующимися средствами, начиная с определенного габитуса. Такое положение у тех алжирских семей, которые, перебираясь из трущоб в район НЛМ, обнаруживают, что против всех ожиданий, они «сражены» новым, столь долгожданным жилищем, не имея возможности выполнить требования, которые оно негласно заключает в себе, например, необходимость финансовых средств на покрытие вновь появившихся расходов (на газ, электричество, а также транспорт, оборудование и др.), но еще и тем стилем жизни, в частности, женщин, который обнаруживается в глубине с виду универсального пространства: начиная с необходимости и умения сшить шторы и кончая готовностью жить свободно в неизвестном социальном окружении [Бурдьё 1993: 46].

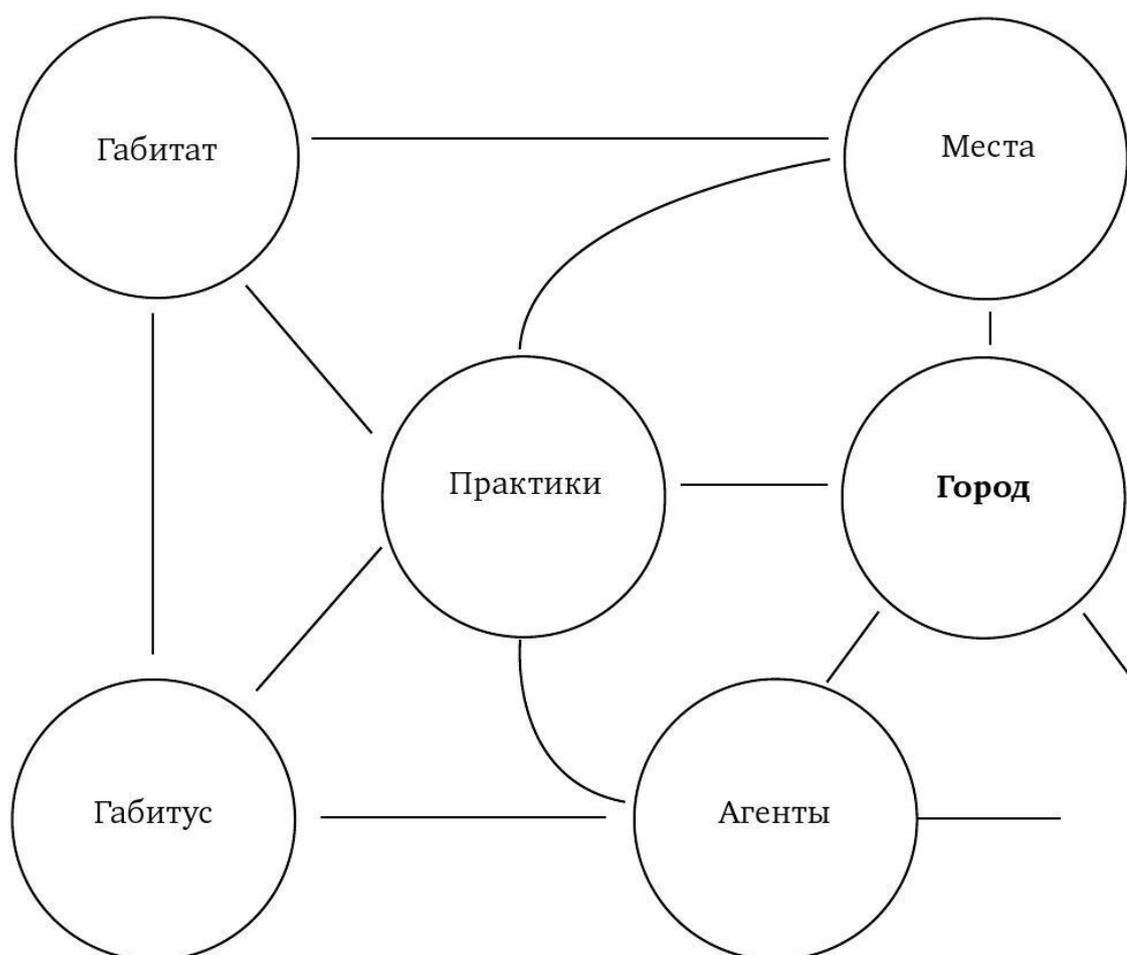


Схема 6. Концепты второй орбиты

Габитус и габитат – атрибуты концептов первой орбиты. Их ценность состоит, в частности, в том, что они оказываются «узлами связи» нескольких конститутивных характеристик. (Пример другого такого атрибута: бурдьевистское понятие поля.) Если отношения между предикатами должны быть проверены эмпирически, то отношения между атрибутами – такой же теоретический постулат, как связь концептов первой орбиты. Генеративная способность концептуальной схемы (т. е. способность порождать все большее количество дискриминативных различий на основе нескольких исходных) напрямую связана с работой атрибутов. Но в конечном итоге каждому атрибутивному концепту все равно должна быть поставлена в соответствие некоторая совокупность оперантов, которые и позволяют (после сбора данных) ответить на вопросы: как связаны габитусы и габитаты? Какие практики каких агентов производят

«подгонку» тел и мест? Каждый концепт второй (третьей, четвертой) орбиты – трансцендентальная ячейка, которая ждет своих эмпирических данных и всегда рискует остаться незаполненной.

Чем более сложен и детализирован наш язык описания города, тем больше возможностей присоединения новых различий в нем создается. Как быть, например, с «дискурсами о городе» – многочисленными нарративами, метафорами, мифами, идентичностями, которые непрерывно циркулируют в медиа? Для бурдьевиста дискурсы производятся и транслируются коллективными агентами, борющимися за дефицитные блага, а потому они отражают одновременно структуру диспозиций (габитусы) агентов и схему отношений – силовых и смысловых – между ними. Дискурс о городе не является конститутивной характеристикой города (ему нет места на первой орбите), не он делает город городом. Можно провести бурдьевистское исследование города и ни разу не прибегнуть к анализу дискурсов – яркий пример тому исследование О. Трущенко. Но такой анализ (если дискурсу нашлось место среди атрибутивных концептов на второй орбите) вполне может дополнить бурдьевистскую картину города. Хотя стоит сделать только один ход – перенести «дискурсы» на первую орбиту, придать им автономию от производящих их субъектов и «структурных условий» их производства – чтобы разрушить стройную бурдьевистскую концептуализацию. Теперь город – это то, что описывает себя как город (к этому шагу мы вернемся в конце книги.)

Две стратегии выделения концептов второй орбиты – поиск предикативных и атрибутивных характеристик – вовсе не исключают друг друга. Хотя первый чаще используется эмпириками, а второй – теоретиками. Постоянная «перепрошивка» концепт-графа, создание новых узлов связи, позволяет нашим концептуализациям регенерировать, обретать новую жизнь за счет устранения одних различий и добавления других. Каждое такое добавление или устранение концепта – это серьезное теоретическое решение. К примеру, может ли физическое пространство быть ресурсом? (Вопрос Анри Лефевра [Лефевр 2015].) Нет, говорим мы, следуя логике предложенной выше схемы – оно есть совокупность мест размещения ресурсов и агентов. Но не является ли ресурсом само место размещения ресурсов? Чем-то вроде ресурса второго порядка? Если мы примем такое решение, физические места города из «контейнеров», становящихся габитатами исключительно благодаря включению в некоторую социальную практику, превратятся в «пространственный капитал», который может быть конвертирован в иные формы капитала [Лефевр 2014].

А агенты? Действительно ли агенты и практики – в равной степени независимые переменные? Может быть, имеет смысл убрать агентов на вторую орбиту (агенты как атрибуты практик), сказав: «Город – это не люди и их практики, а практики и их люди»? Тогда мы получаем свободный от габитусов и прочих пережитков объективированной истории чистый «практический город», сотканный из миллионов незаметных, нерелексивных, разворачивающихся в пространстве и времени рутинных действий. За такое – практикоцентричное – решение придется дорого заплатить (чем именно, мы узнаем в третьей главе), но оно возможно. Поскольку никакая концептуализация не является замкнутой формальной системой; чтобы работать, она должна каждый раз пересобираться заново. И тогда множество иных различий – взятых из теории действия, теории рационального выбора, теории пространства, теории игр, теории капиталов, теории практик etc. – могут подсоединяться (на второй орбите) к уже имеющимся различиям концептуальной схемы города.

Всякая используемая исследователем теория – не более чем ресурс его воображения. Главное, помнить, что коридор возможностей подсоединения новых различий задается на первом этапе концептуализации – на этапе «прошивки» концептов первой орбиты.

Теперь представьте себе два множества элементов. Одно включает в себя «людей», «машины», «грязь», «смог», «ненависть», «одиночество», «пробки» и «деньги». Второе – «агентов», «отношения», «практики», «ресурсы», «места-контейнеры», а также «габитусы»,

«габитаты», «поля», «капиталы» и «дискурсы». Второе множество в отличие от первого консистентно, рафинировано и лишено «живой жизни». Задача социолога – не добавить (синтагматически) элементы первого множества к элементам второго, а выразить (парадигматически) одно через другое. Мы привыкли думать, что копия всегда проще оригинала, что цель концептуального моделирования – систематическая редукция объекта, его превращение в относительно простой и доступный изучению предмет. Но есть модели, которые куда сложнее своих объектов. Так, Бурдьё создает альтернативную городскую реальность – утопический город Бурдьёполис. Этот «трансцендентальный город» растет и усложняется, он накладывается на реальные города и делает их видимыми для социолога. В результате все доступные бурдьевистскому взгляду города становятся немного бурдьёполисами.

Вот так выглядит Москва Ольги Трущенко:

С расширением географических границ Москвы и с ростом ее населения основополагающее социальное разделение столичного пространства стало проявляться уже не только через противостояние запада востоку, но и через противоположность центра окраинам [Трущенко 1995: 21].

А вот так – Париж Пьера Бурдьё:

...пространство Парижа представляет собой, помимо основного обратного преобразования экономических и культурных различий в пространственное распределение жилья между центральными кварталами, периферийными кварталами и пригородом, еще и вторичную, но очень заметную оппозицию «правого берега» «левому берегу», соответствующую основополагающему делению поля власти, главным образом между искусством и бизнесом [Бурдьё 1993: 51].

И здесь мы приходим к следующей проблеме – проблеме неспецифичных концептуализаций.

Неспецифичные концептуализации: машина безразличия

Язык – это вирус.

У. Берроуз

Парадоксальная природа концептуализации выражается в следующем: моделируя свой объект, мы сопрягаем все более и более тонкие различия, чтобы перестать видеть бросающиеся в глаза различия между конкретными объектами. После концептуализации разные объекты становятся «разновидностями», «экземплярами» одного объекта. Москва и Париж – это разные города? Да, но только пока мы не приступили к их концептуальному моделированию. После парадигматического сдвига – это просто Город 1 и Город 2, две разновидности Бурдьёполиса (или Веберополиса, или Гофманополиса). Таково свойство неспецифичности: концептуализация не делается для уникального объекта, «*the* Города». Однако приведенная выше концептуальная схема обладает еще двумя свойствами – *масштабируемостью* и *трансфербельностью*.

Масштабируемость означает, что в той же системе различий могут быть описаны объекты предположительно аналогичной природы, но меньшие или большие по масштабу, нежели интересующий нас объект – «город». Почему не страна? Ведь не только город является объективацией и натурализацией социального пространства в пространстве физическом:

То же относится и к столице [*la capitale*], которая – по меньшей мере, во Франции – является местом капитала [*le capital*], т. е. местом в физическом пространстве, где сконцентрированы высшие позиции всех полей и большая часть агентов, занимающих эти господствующие позиции. Следовательно, столица не может мыслиться иначе, как в отношении с провинцией, которая не располагает ничем иным, кроме лишения (относительного) и столичности, и капитала [Бурдьё 1993: 55].

Почему не отдельное здание или помещение? Университетская аудитория – тоже результат объективации социальных различий в физическом пространстве [Bourdieu 1990: 177–199].

Бурдьё упоминает кабийский дом – объект своего более раннего исследования – в качестве предмета той же природы, что и город. Предположительно дом также несет на себе отпечаток отношений агентов и их практик. Но это не совсем так. Хотя потенциально хижина может быть концептуализирована как «габитат» и описана через связь с габитусом и практикой, сам Бурдьё не делает этого шага масштабирования. Для кабийского дома он использовал совсем другую – антропологическую – концептуализацию (к ней мы еще раз вернемся в шестой главе). Бурдьё детально описывает оппозиции, структурирующие жилое помещение («внутреннее – внешнее», «правое – левое», «темное – светлое», «запад – восток», «женское – мужское», «человек – животное», «прошлое – будущее»), именно как символические оппозиции. Он заключает:

Если теперь вновь обратиться к внутренней организации дома, можно увидеть, что ориентация дома прямо противоположна ориентации внешнего пространства, как если бы она получилась в результате поворота на 180° по оси фасадной стены или по оси порога. Если, перешагнув порог, встать лицом к ткацкому станку, то стена, у которой он стоит, освещаемая прямыми лучами утреннего солнца, будет внутренним светом (подобно тому, как женщина является внутренней лампой), т. е. востоком внутреннего, симметричным востоку внешнего [Бурдьё 2001: 537].

Западная стена дома – это «внутренний восток». А «внешнему югу соответствует внутренний север». Что позволяет кабилам получить двойной символический выигрыш:

Двойная ориентация пространства дома приводит к тому, что можно одновременно войти и выйти с правой ноги в прямом и переносном смысле слова, получая всю магическую прибыль, связанную с этим направлением, при том что никогда не разорвется связь, которая соединяет правое с высоким, со светом и с благом [Бурдьё 2001: 537].

Тот факт, что в описании кабийского дома Бурдьё больше похож на Леви-Стросса, чем на себя (более позднего), не должен вводить нас в заблуждение: будто бы существует предел масштабирования, и система концептуальных различений, «работающая» для города и страны, не подходит для описания отдельного дома. Последовательный бурдьевист способен переместить кабийскую хижину в Бурдьёполис небольшим усилием продуктивного теоретического воображения. Таково свойство всех неспецифичных концептуализаций: они не приклеены намертво к объектам одного масштаба.

Другое их свойство еще любопытнее.

Трансферабельность – это способность концептуальной схемы описывать объекты иной природы, нежели те, для которых она была разработана. Давайте заменим в описанной выше бурдьевистской концептуализации города всего один элемент, один концепт первой орбиты. Заместим «физическое пространство» – с его местами и границами – «институциональным пространством», состоящим из разного рода учреждений. Еще конкретнее: будем говорить только об одном сегменте социального пространства (который Бурдьё называет «полем науки») и об одном типе учреждений – об университетах, факультетах, кафедрах, лабораториях, журналах, исследовательских институтах. Что мы увидим? Конкуренцию агентов за ресурсы, сегрегацию и депортацию, воспроизводство устойчивых паттернов отношений, специфичные для данного поля практики и не менее специфичный габитус Ното Academicus [Bourdieu 1988]. Применительно к России мы, вероятно, опишем, как происходила поляризация университетов и институтов Российской академии наук, как в 1990-е годы случился массовый отток агентов и ресурсов из РАН, как на этом фоне сформировалось новое противостояние «старых» и «новых» университетов, как западные фонды переструктурировали институциональное пространство, инсталлировав новые практики научного производства [Батыгин 2000]. В случае отечественной социологии мы сможем объяснить, к примеру, как сформировался новый класс социологов-теоретиков, как их противостояние с эмпириками перешло в активную фазу внутри «новых» университетов, и как – благодаря альянсу с «внешними» агентами – им удалось утвердить свое положение, в том числе и на рынке исследовательских проектов. Какое место в этой схеме будет отведено их теоретическим построениям? То же, что и в концептуализации города, – дискурсам агентов. Я пишу этот текст – отрывая бурдьевистскую концептуализацию от бурдьевистской же эпистемологии [Бурдьё 2002], требуя смотреть на концептуальные схемы вне «породивших их социальных условий и отношений», – потому что принадлежу к определенному классу агентов, преследующих собственные интересы. И тогда моя книга не более чем ход, сделанный одновременно на двух досках: на поле науки, чтобы прирастить символический капитал, и на поле городских исследований – чтобы закрепить положение своей исследовательской команды. Даже сказка Андерсена «Принцесса на горошине» более не невинна (любопытная бурдьевистская реинтерпретация этой сказки была предложена М. Генковой²).

² «Вспомним сказку „Принцесса на горошине“. Здесь существует, с одной стороны, модализированное докисическое отношение (дистанция между хабитусом и хабитатом), а с другой стороны, ясно сформулированный и старательно подготовленный „практико-логический эксперимент“. Для того чтобы стала возможной предикация „Она – настоящая принцесса“, нужно определить [социальные] условия возможности этого суждения» [Генкова 2000: 67].

Описывая возникающее расслоение, поглощение «старых» университетов «новыми», замещение и депортацию (за пределы институционального пространства) одних агентов другими, бурдьевист проанализирует науку в той же системе различений, что до этого анализировал город. За наукой последуют литература, право, религия, спорт. Свойство трансферабельности делает возможным расширение списка объясняемых феноменов практически до бесконечности, включая в него даже саму объясняющую схему.

И вот здесь происходит сбой. Трансферабельность – это то, что позволяет нам переносить модели мышления из исследований этничности в исследования техники, из исследований религии – в исследования города, из исследований языка – в исследования права. Однако именно из-за такой неспецифичности и «всеядности» языков описания они со временем утрачивают свою объяснительную силу. Отсюда основной драйв написания этой книги.

Мы не можем отказаться от требования концептуализации и вернуться к блаженной невинности синтагматического нарратива урбанистов («Город – это и люди, и машины, и здания, и еда, и мусор, и мэр, и анонимность, и эпидемия, и турникеты в метро...»). Но имеющиеся у нас в запасе инструменты воображения стремительно приходят в негодность. Мы по инерции пользуемся системами различений и языками описания, которые производят типовые образы объекта (подобно типовому жилью в Советском Союзе). Чтобы вырваться из этого порочного круга, нужно попробовать научиться «мыслить город иначе», обратившись к новым теоретическим интуициям.

Контингентность города: «способность быть иным»

Даже сама реальность относительна к схеме: то, что считается реальным в одной системе понимания, может не считаться таковым в другой.

Д. Дэвидсон

Посмотрим еще раз на процитированный выше тезис Бурдьё:

Следовательно, столица не может мыслиться иначе, как в отношении с провинцией, которая не располагает ничем иным, кроме лишения (относительного) и столичности, и капитала.

«Не может мыслиться иначе» здесь – ключевое высказывание. Действительно, нельзя сказать «столица» и не сказать «провинция», без одного не может быть другого. Но, согласившись с тем, что «столица» не может мыслиться в отрыве от «провинции», мы только что автоматически согласились с тем, что «провинция» не может мыслиться иначе как «лишенная столичности и капитала». Создание видимости отсутствия альтернатив – проверенный, но весьма ущербный ход, к которому главный архитектор Бурдьёполиса прибегает по несколько раз в каждой книге. Вспомним еще одно процитированное выше высказывание:

То пространство, в котором мы обитаем и которое мы познаем, является социально размеченным и сконструированным. Физическое пространство не может мыслиться в таком своем качестве иначе (курсив мой. – В. В.) как через абстракцию (физическая география), т. е. игнорируя решительным образом все, чему оно обязано, являясь обитаемым и присвоенным.

Но что значит «не может мыслиться иначе»? Прежде всего, то, что между объектом (городом) и его концептуализацией (социальное пространство, объективированное в пространстве физическом) существует необходимая связь. Тезис о необходимости – это очень сильное, однако неубедительное заявление. Мы видели, как отбираются конститутивные концепты, видели, как происходит «прошивка» концептуализации на второй орбите – за каждым ходом в этой теоретической партии стоит именно что выбор.

Значит ли это, что концепты могли бы быть вообще любыми? И следовательно, отношения между городом и его концептуализацией – это отношения случайные, произвольные, ничем не обусловленные? Нет. Тезис о случайности еще хуже тезиса о необходимости. Потому что тогда между метафорой «Город как театр военных действий» и метафорой «Город как гусь» нет никакой разницы.

Свойство, контрарно противопоставленное и случайности, и необходимости, называется *контингентностью*. Сказать «концептуализация контингентна» значит сказать, что наши концепты могли бы быть иными, но не любыми³. Таким образом, мышление о городе предполагает осмысленный выбор одной из множества альтернатив. Некоторые из этих альтернатив ближе друг к другу, некоторые – дальше. Иногда эти альтернативы образуют бинарные оппозиции: два концептуальных решения (в определении, казалось бы, одного и того же объекта) исключают друг друга.

³ Идея контингентности, как не-необходимости и не-случайности, – центральный концепт социологической теории Н. Лумана. Но здесь мы, к сожалению, не имеем возможности углубляться в его эпистемологию. См. [Луман 2007], [Филиппов 2003].

Общественное пространство: Х. Арендт против И. Гофмана

Мало какое различие используется применительно к городскому пространству так же часто, как различие «публичное/приватное». И чем чаще мы говорим о публичном (или общественном) пространстве, тем меньше оно, кажется, нуждается в определении. Комитеты по общественным пространствам при мэриях и департаментах – это, как правило, комитеты по паркам, площадям и пешеходным улицам.

Но что делает общественное пространство общественным? Режим доступа? Право собственности? Особое положение в городской среде? Сделаем первый шаг концептуализации: общественным пространство делает некоторая стоящая за ним форма общности. Любое место оказывается ровно в той степени общественным, в какой служит «точкой сборки» сообщества, его пространством солидарности. Средневековый европейский город «собирается» на рыночной площади, греческий полис – на агоре, Рим – на форуме. Нет сообщества – нет общественного пространства.

Вероятно, самую сильную концептуализацию такого рода предложила Ханна Арендт. Описывая публичную жизнь древнегреческого полиса, она выделила несколько «конститутивных характеристик»: а) жители, свободные граждане, равные по отношению друг к другу; б) физическое пространство – конкретное место, в котором они непосредственно «даны» друг другу и могут обсуждать вопросы общей судьбы; в) сам факт коммуникации, столкновения позиций. Арендт пишет:

Только в мире опыта самого полиса, не без оснований характеризуемого Буркхардтом как «самая болтливая» из всех государственных форм... действие и говорение все больше разлучаются, пока не образуют две совершенно отдельных друг от друга деятельности. Акцент при этом переместился с действия на говорение... Быть политическим, жить в полисе означало, что все дела улаживаются посредством слов, способных убедить, а не принуждением или насилием. Принуждать других силой, приказывать вместо того, чтобы убеждать, считалось у греков как бы дополитическим способом межчеловеческого обхождения, привычным в жизни вне полиса, скажем в обращении с домочадцами, в семейственности, где глава семьи осуществлял деспотическую власть, а также в варварских государствах Азии, чью деспотическую форму правления часто сравнивали с организацией домохозяйства и семьи [Арендт 2000: 36].

В другой своей работе (в эссе «Что такое свобода?») Арендт замечает:

Свобода требовала, вдобавок к простому освобождению, сообщества других людей, пребывающих в том же статусе, и она требовала общего публичного пространства, где можно встретиться с ними, – иначе говоря, политически организованного мира, куда каждый из свободных людей мог ввести себя словом и делом [Арендт 2007].

При всей кажущейся философской абстрактности арендтовского определения, оно предельно операционально. Исследователь-эмпирик легко подберет кейсы общественных пространств «по Арендт»: Химкинский лес, ставший местом беспрецедентного противостояния горожан и городских властей, поляна в Тропарево, стамбульский парк Гези, любой двор, в котором жители собираются для решения насущных проблем своего общежития. Исследователь-эмпирик сможет найти взаимосвязи между спецификой коммуникации и спецификой места, пространственной организацией и характеристиками акторов etc. При отборе атрибутивных концептов на второй орбите, скорее всего, окажутся «идентичность», «сообщество»,

«механизмы солидаризации». Тот факт, что Арендт не интересуется современным городское пространство, не означает, что предложенная ею система различий не может его описать.

Но зададим этой концептуализации вопрос: как быть с «правилами поведения», с этикетом социального взаимодействия? Какой логике подчиняется разговор равных свободных граждан, вышедших на площадь для обсуждения вопросов общей судьбы и принятия решения о совместном действии? Арендт отвечает: это вопрос современного человека, не имевшего опыта подлинной общественной жизни, конформиста, который ставит этикет выше гражданской доблести. Такого человека должен изучать психолог-бихевиорист, а не философ:

Что бы поэтому ни выдвигалось против бихевиоризма и его теории поведения, трудно отрицать его релевантность для действительности, в которой мы живем. Чем больше людей налицо, тем более верными становятся его «законы» ведения себя, *behavior*, т. е. тем более правдоподобным кажется, что люди действительно следуют обычным линиям поведения, и тем менее правдоподобным – что они станут хотя бы просто терпеть тех, кто поступает иначе [Арендт 2000: 58].

Тех, кто поступает иначе, ответил бы Ханне Арендт Ирвинг Гофман, сегодня изучают психиатры:

В большинстве своем психиатрические исследования ситуационно неуместных действий свелись к изучению нарушителя, а не нарушаемых им правил или оскорбленных социальных кругов. Однако благодаря этим исследованиям психиатры невольно сделали нас более чувствительными к важной сфере социальной жизни: поведению в публичных и полупубличных местах. Хотя эта сфера не была признана особой областью социологических исследований, ее, вероятно, следует признать таковой, поскольку правила поведения на улицах, в парках, ресторанах, театрах, магазинах, на танцплощадках, в конференц-залах и других местах, где собирается сообщество, многое говорят нам о самых диффузных формах его социальной организации [Гофман 2014: 221].

Таким образом, Гофман оставляет на первой орбите «людей», находящихся в ситуации соприсутствия, лицом к лицу, и «место», но заменяет коммуникацию по общественно значимым вопросам нормами поведения (негласными правилами или требованиями этикета). Ключевым же правилом – тем самым, которое делает публичное пространство публичным, – у него оказывается правило гражданского невнимания. Оказавшись с незнакомым человеком в лифте, мы стараемся не встречаться с ним глазами. Мы не обсуждаем политику со случайными прохожими на бульваре, и даже в ночном клубе правила вступления в коммуникацию с незнакомыми людьми (особенно противоположного пола) куда более формальны, чем может показаться на первый взгляд. Если у Арендт конститутивным признаком публичного пространства является коммуникация, то у Гофмана – ее отсутствие. Публичное пространство – это место, где я могу находиться в обществе незнакомых людей, игнорируя их существование. Пробразом публичного пространства у Арендт оказывается греческая агора или римский форум. У Гофмана – лифт или улица.

Существует целый класс инициатив городских властей, главная задача которых – превращение общественных пространств «по Арендт» в общественные пространства «по Гофману». По свидетельству архитекторов – участников конкурса на проектирование Манежной площади – нейтрализация потенциально опасной территории (которая ранее неоднократно становилась пространством спонтанных митингов и выступлений) была одной из негласных

предпосылок конкурсного задания⁴. Приведем другой пример превращения арендтовского общественного пространства в гофмановское публичное. Коллеги, проводившие исследование московского парка Царицыно [Царицыно 2014] рассказывают о следующем случае. Парк до реконструкции музея-заповедника был «точкой сборки» московского сообщества эльфов. Узнав о готовящемся обновлении территории, эльфы на общем собрании постановили обратиться к дирекции музея (частью которого является парк) и принести вассальную присягу новому руководству. Чем закончился разговор с директором, начавшийся с фразы «Вы не имеете права прогонять мой народ с его исконных земель», история умалчивает.

Две приведенные концептуализации противоречивы. Невозможно определить общественное пространство одновременно и через наличие коммуникации и через ее отсутствие (подобно тому, как конститутивным признаком принцессы могут быть либо хорошие, либо плохие манеры, но не те и другие сразу.) Выбор «или/или» создает иллюзию необходимости выбора из двух противоречивых альтернатив. Но мы вовсе не обязаны выбирать: «есть коммуникация / нет коммуникации». Для экономиста, к примеру, куда более естественной покажется концептуализация «общественное пространство как общественное благо». И тогда на первой орбите окажутся «потребители», «управляющий агент», «место», а также два дополнительных ограничения: а) управляющий агент не может исключить из потребления места тех, кто за него не платит, и б) потребление места одним не уменьшает возможностей его потребления другим. Вопрос о том, коммуницируют ли потребители в процессе потребления в такой логике, вообще будет выглядеть абсурдно. Экономическая концептуализация общественного пространства как общественного блага контрарно противопоставлена и гофмановской, и арендтовской модели.

Контрадикторные концептуализации – скорее исключение, нежели правило. Гораздо чаще построение концептуальной схемы предполагает выбор из не связанных между собой теоретических решений. И тогда может сложиться впечатление, что речь идет о совершенно разных объектах.

Теракт в городе: действие, факт, сообщение, событие

Макс Вебер, один из отцов-основателей нашей дисциплины, пытаясь разобраться в непростых отношениях протестантской этики и капиталистической практики, столкнулся с рядом парадоксов. К примеру, как согласуется в кальвинистской доктрине требование посвятить себя избранной профессии, добиваться успеха на профессиональном поприще с догматом о предопределенности к спасению? Расхожая трактовка – якобы кальвинисты считали работу богоугодным делом, рядоположным молитве, а потому именно в работе рассчитывали обрести спасение души – отбрасывается сразу же. Согласно тезису о предопределении, нельзя спасти душу – ни в молитве, ни в работе; вы изначально предопределены либо к вечному блаженству, либо к вечным мукам. Однако можно обрести уверенность в собственном спасении (*certitudo salutis*) и

в качестве наилучшего средства для обретения внутренней уверенности в спасении рассматривается неутомимая деятельность в рамках своей профессии. Она, и только она, прогоняет сомнения религиозного характера и дает уверенность в своем избранничестве [Вебер 1990: 149].

То есть работа – самозабвенный труд на профессиональном поприще, без которого, по Веберу, немислим рациональный капитализм эпохи модерна, – изначально представляет собой эпистемическое действие: вы не можете повлиять на Б-жественное решение, но вы можете

⁴ Интервью были взяты в рамках проекта по изучению Манежной площади и ТЦ «Охотный ряд» сотрудниками Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ в 2006–2008 годах. Некоторые результаты проекта изложены в [Филиппов 2009; Вахштайн 2008].

проникнуть в Б-жественный замысел. Если в мирских делах вам сопутствует успех, значит, вы принадлежите числу избранных. Чтобы истолковывающим образом понять человеческое действие (а именно в этом состоит предназначение веберовской социологии⁵), нужно разобраться с его смысловой конструкцией. Как требование полной самоотдачи в профессиональной деятельности связано с идеей первородного греха? Вебер отвечает: посмотрите на ту реинтерпретацию легенды об изгнании из Эдема, которую предлагают протестантские теологи. Для католика изгнание из рая – это наказание за непослушание и урок человечеству на будущее. Для протестанта (определенного толка) – это миссия, задача, требующая решения: Г-сподь показал Адаму и Еве райский сад, после чего отправил (а не выгнал) их создавать рай своими собственными усилиями на земле. По Веберу, не пойдем этого – не пойдем протестантской колонизации североамериканского континента, проповеди Дж. Уинтропа на «Арбелле» и силы метафоры «сияющий град на холме».

Но что значит разобраться со смысловой конструкцией социального действия?

...Шестого февраля 2004 года молодой человек, уроженец Карачаево-Черкесии, приехавший незадолго до этого в Москву на рейсовом автобусе, спустился в метро и сел в поезд, следующий в центр города от станции «Красногвардейская». В туннеле на перегоне между «Автозаводской» и «Павелецкой» он привел в действие взрывное устройство мощностью 4 кг в тротиловом эквиваленте. Не считая террориста-смертника, погиб 41 человек. Взрыв 6 февраля стал одним из крупнейших за всю историю терактов в московском метро; после его совершения была полностью изменена система обеспечения безопасности на транспорте (в частности, введено повсеместное видеонаблюдение).

Допустим, мы – исследователи, пытающиеся истолковывающим образом понять террористический акт как социальное действие. На первой орбите концептов у нас находится «действующий», «доминирующая форма активности» (по Веберу: деяние, недеяние, претерпевание, но в данном случае – очевидно, деяние), «субъективно полагаемый смысл» и «ориентация (по смыслу) на другого». На второй орбите окажутся «цели» и «средства», соотношение которых позволит ввести веберовскую шкалу рациональности (целерациональное, ценностно-рациональное, традиционное и аффективное действие). Мы должны будем сформировать выборку аналогичных кейсов, с тем чтобы проследить: на какого «другого» оно ориентировано? каковы те ценности и убеждения, которые делают этот поступок осмысленным для действующего? насколько рационально – с точки зрения соотношения целей и средств – совершаемое им убийство-самоубийство? Эта модель мышления куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мы должны будем провести детальную экспликацию смысловой конструкции теракта, сопоставить каузальный и интенциональный план действия террориста [Степанцов 2013; Степанцов 2015], чтобы увидеть взаимосвязь – между целями и средствами, рациональностью и убеждениями, смыслами и поступками. (Удивительно веберовский по своей концептуализации анализ русского политического терроризма конца XIX – начала XX века предпринял Альбер Камю [Камю 1990].)

Чего мы не увидим? Город. Метро. Место. Веберовская концептуализация удивительно безразлична к пространственному аспекту социальной жизни [Филиппов 2008]. Социальное действие определяется по своему смыслу. А смысл – не пространственная характеристика. Тот факт, что взрыв в Москве произошел именно в метро (в Иерусалиме теракты на рынке или автобусных остановках случаются чаще, чем в самом общественном транспорте), становится нерелевантным.

⁵ Любопытный разбор этого постулата мы найдем у Т. Парсонса: «...веберовский социологический смычок как бы играл на двух струнах. Во-первых, Вебер определял социологию как научную дисциплину, которая, в первую очередь, должна попытаться [истолковывающим образом] понять (*deutend verstehen*) действия индивидов, особенно в их социальных отношениях друг к другу... Во-вторых, Вебер считал, что социология помимо субъективных мотивов должна развивать каузальные объяснения процесса действия, его направления и последствий» [Парсонс 2002: 45].

Оставим Вебера и теорию социального действия.

Эмиль Дюркгейм, пытаясь объяснить социальную природу самоубийства, столкнулся с другим вопросом: почему в протестантских общинах самоубийства происходят чаще, чем в католических? Означает ли это, что само «католичество ослабляет стремление к самоубийству, тогда как протестантство его усиливает» [Дюркгейм 1994: 282]? Веберовский ответ – надо посмотреть, во что верят одни и во что верят другие, – для Дюркгейма недостаточен. Дюркгейм мыслит самоубийство как социальный факт, напрямую связанный с характеристиками некоторого сообщества. И прежде всего, с главной такой характеристикой – солидарностью его членов. Дело в том, что в католических общинах большие семьи и весьма высокая социальная «связность»: вы регулярно исповедуетесь перед священником, ваша вера – коллективное, а не индивидуальное предприятие. Соответственно, градус солидарности и сила социальных связей выше. В протестантских общинах социальные связи слабее, вы оказываетесь, по сути, наедине с Б-гом и лишь перед ним несете ответственность. Солидарности меньше – самоубийств больше.

Теракт 6 февраля, концептуализированный как социальный факт, предстанет явлением иного порядка, нежели тот же феномен, понятый как социальное действие. Теперь на первой орбите будет находиться сообщество – с его солидарностью, морфологией и космогонией. Будут использованы иные системы различий, взятые, к примеру, из социальной антропологии или сферы *community studies*. Основной вопрос: как механизмы солидаризации, система верований и организация социальных связей в террористическом сообществе определяют факт теракта? Почему, как показали исследования израильских социологов [Benmelech, Bergeri 2007], теракты, совершенные взрослыми смертниками с высшим образованием, в среднем более «эффективны», чем теракты, совершенные молодыми полуграмотными самоучками? (Для экономиста здесь определяющим является различие в «человеческом капитале» террористов, но социолог немедленно задаст вопрос о «социальном капитале» двух этих когорт.) Почему террористическая группа баскских сепаратистов ЭТА настолько преуспела в деле перманентного антигосударственного террора, а жертвами аналогичной террористической группы каталонских сепаратистов *Terra Lliure* за семнадцать лет становились в основном ее собственные члены (и преимущественно из-за неумения пользоваться взрывчаткой)? Ответ опять же будет найден в структуре сообщества, градусе солидарности и коллективных верованиях (но только не самих по себе, а в связи с их вкладом в поддержание и воспроизводство социального целого).

Однако города мы по-прежнему не увидим. Хотя понятие сообщества и предполагает пространственные импликации, локация террористической группы – это не локация самого теракта. Дюркгеймовский язык описаний еще меньше говорит нам о связи между метро и взрывом, чем веберовский.

Третье решение – обратиться к теории коммуникации и метафоре «теракт как сообщение». Поместить на первую орбиту «отправителя», «получателя», «средство», «систему референций» etc. [Matusitz 2012]. Стоит ли говорить, что – при всей заманчивости такого теоретического шага – мы опять не увидим в этой концептуализации города.

Интуитивно понятно, что метро – особое место. Миллионы людей ежедневно оказываются спрессованы в железных коробках, но научились не испытывать дискомфорта из-за рутинности, повторяемости, привычности этой ситуации. Московское метро – наибольший общий знаменатель города. Если завтра его отключить, часть москвичей не найдет дорогу домой⁶. Опять же интуитивно мы понимаем, что есть связь между взрывом в метро и радикальной пересборкой общественного транспорта, которая за ним последовала. Но как эта связь может быть схвачена в концептуальных различиях? Как должно быть выстроено исследование, которое «высветит» именно городской аспект теракта?

⁶ Эта фраза была написана до стремительного распространения сервисов «Убер» и «Яндекс. Такси».

Один из возможных ходов – обращение к теории социальных событий с ее различением событий абсолютных и относительных, событий первого и второго рода, вниманием к аспектам «считывания», квалификации, фреймирования событийных фигураций как пространственно-временных комплексов, коррелятивных актов наблюдения [Филиппов 2005; Вахштайн 2011]. Но для этого и сам город должен быть переосмыслен не как совокупность людей и мест, а как множество прилегающих друг к другу событийных цепочек: ординарных и перформативных, утверждающих определенные порядки и разрушающих их. Впрочем, пока эта задача – концептуализация событийной архитектуры городской жизни – еще ждет своего часа.

То, что мы наблюдали в двух предыдущих отступлениях – это контингентность концептуализации. Нет никаких инструкций, предписывающих нам выбор конкретного языка описания. Он всегда мог бы быть иным. Скажем, экономисты и сторонники теории рационального выбора могут изучить «экономические аспекты терроризма» [Harrison 2006]. Для этого нужно аксиоматически поместить рациональность на первую орбиту, посчитав затем, какие символические выгоды приобретает террорист и материальные – его семья. Вебер бы пришел в ужас, Дюркгейм бы просто проигнорировал такое решение, но они мертвы, а исследователь-экономист – жив⁷.

Однако это – контингентность первого порядка: выбор между несколькими консистентными системами концептов первой орбиты. Далее мы вновь сталкиваемся с контингентностью, когда начинаем отбирать и связывать дискриминативные концепты. Дело в том, что такая работа всегда предполагает некоторое сопряжение, подсоединение дополнительных различений, которые вовсе не обязательно содержатся в исходном теоретическом языке. Создание концептуализации – это всегда последовательность шагов «сборки» концептуальной схемы, а отнюдь не «использование» уже готовой теории. Именно поэтому фразы вроде «Я хочу использовать теорию X для исследования объекта Y» или «Я хочу посмотреть на объект Y через призму теории X» следует рассматривать как фразы-паразиты и симптомы аспирантского невроза.

⁷ Впрочем, призрак Дюркгейма может достать даже вполне живого экономиста. В процитированной выше работе Марк Харрисон анализирует террористический акт как форму контракта между смертником и террористической организацией. И тут же получает упрек от своего коллеги Альдо Матеуччи: а как быть с сообществом [Mateucci 2007]? В итоге Харрисон вынужден согласиться: «В том, что терроризм может быть понят только в контексте сообщества, которое его поддерживает, у нас, в сущности, нет расхождений», тут же добавляя: «Но террористические атаки совершают индивиды, а не сообщества» [Harrison 2007: 241].

Спорные территории: рациональные горожане?

Экономист-теоретик как бы заглядывает в карты всех игроков, участвующих в построенной им мысленной модели, и на этой основе делает некоторые общие заключения о характере результата.

Ф. Хайек

Вернемся в Бурдьёполис. Насколько рациональны его жители? Описанные Бурдьё «социальные агенты» – это те же калькулирующие, расчетливые, экономические существа, в которых до недавнего времени искренне верили экономисты? Нет. Жители Бурдьёполиса действуют не бездумно, но и не рационально. Их рациональность – коллективная и телесная. Они ничего не подсчитывают. Буржуа переезжает на Монмартр не в поисках выгоды, а повинуюсь императиву своего «поля».

Главный архитектор Бурдьёполиса неоднократно обрушивался на концепт человека экономического:

Антропологические построения, к которым прибегают защитники теории «рационального деятеля», чтобы принять на себя следствия, вытекающие из теоретического постулата, по которому рациональное действие не может иметь другого истока, кроме стремления к рациональности и свободного, информированного расчета рационального субъекта, представляют собой собственное опровержение из-за абсурдности этого постулата и стимулируют поиск основания практик в отношении между внешним принуждением, оставляющим для выбора весьма изменчивое поле, и внутренней предрасположенностью – диспозициями, являющимися продуктом экономических и социальных процессов, более или менее нередацируемых к этим точно определенным принуждениям [Бурдьё 2001: 97].

Итак, с одной стороны – точечные принуждения социального пространства, с другой – вписанные в тело диспозиции. И никакого разума «в себе» или «для себя», никакого расчета, никакой калькуляции. Практика не имеет оснований в разуме агента (к этому тезису Дэвида Юма в теории практик мы вернемся в третьей главе). Но если сама рациональность – не имманентное свойство действующего, а побочный продукт практических действий, нужно ли нам тогда продолжать борьбу с самодовлеющей и самодостаточной рациональностью экономистов? И нужны ли нам тогда апелляции к всегда-уже-воплощенным в телах и территориях структурам социального пространства?

Что интересно, сам Бурдьё оставляет место для «практического разума» – того, что по-русски следовало бы назвать «сметкой», или «смекалкой», – но эта идея повседневной рациональности не схватывает того, что схватывается другими теориями. Например, как в городском пространстве проявляются отсроченные эффекты повседневно-рационального поведения горожан? Такой вопрос уже предполагает уход в сторону другой концептуализации: «Город – это непредумышленный эффект умышленных действий».

«Эффект Маккензи»: «Яндекс. Пробки» и давка в метро

Как провезти велосипед по кольцевой ветке московского метро в час пик? Вопрос для обладателей велосипедов не праздный. Однако многие велосипедисты (до недавнего времени чувствовавшие себя в Москве как партизаны в оккупированном городе) знают простое пра-

вило: нужно идти в первый или в последний вагон, где в час пик с большей вероятностью окажется подходящее свободное место. Почему?

Несколько ключевых факторов определяют, в каком вагоне окажется пассажир. Допустим, наш городской агент знает, где на станции прибытия будет находиться нужный ему выход, и к моменту спуска на платформу поезда еще нет. Тогда пассажир направится к намеченному вагону и либо сядет в него, когда подойдет поезд, либо – если поезд подойдет раньше – запрыгнет в ближайший к нему вагон. Локация пассажира в этом случае определяется «пунктом предполагаемого выхода из поезда». Теперь допустим, что он спустился на платформу в момент прибытия поезда. Независимо от того, знает ли он, из какой двери ему лучше будет выйти или нет, он сядет в ближайший вагон. И тогда его локация определяется «пунктом входа» – конструкцией станции, точнее той ее точкой, где агент может кратчайшим путем преодолеть расстояние от спуска с эскалатора/лестницы до входа на платформу. Подавляющее большинство локаций задается соотношением «пункта входа» и «пункта выхода» пассажиров, то есть, по сути, конструкцией исходной и конечной станции.

Теперь допустим, что агент не знает, в каком вагоне ему лучше находиться к моменту выхода из поезда, и поезда пока нет. Он может взять на вооружение множество иных стратегий: например, стать там, где меньше людей, стать прямо посередине платформы, сесть на лавочку, прогуляться вдоль пути и т. д. Тогда предсказать его локацию оказывается значительно сложнее, но и в этом случае она с высокой вероятностью окажется между двумя крайними входами на платформу.

Что отличает кольцевую ветку метро?

Здесь нет станций, где вход (и соответственно выход) на платформу был бы расположен у первого/последнего вагона. В крайний вагон нельзя заскочить в случае, если поезд подошел: вы вбегаете на платформу уже в районе третьего вагона. В крайний вагон нельзя сесть по рациональным соображениям, чтобы минимизировать время на станции прибытия: выход на ней тоже будет между третьим вагоном с хвоста и третьим вагоном от головы поезда. В первом и последнем вагоне на кольцевой ветке можно оказаться только случайно. Или преднамеренно – если вы велосипедист и знаете этот распространенный лайфхак.

Каждый пассажир метро действует рационально (конечно, в меру имеющегося знания). Но отсроченным эффектом рациональности каждого отдельного агента и планировки станций кольцевой ветки оказывается заметная диспропорция в заполняемости вагонов. Отсюда искушение – которому социологи поддаются чуть реже, чем экономисты, – анализировать городскую жизнь так, как если бы большинство наблюдаемых феноменов были непреднамеренными эффектами преднамеренных действий при заданных структурных ограничениях.

Представьте себе ситуацию 1: каждый автомобилист принимает решение, когда ему выезжать и каким маршрутом следовать, полагаясь на собственный здравый смысл, опыт и интуицию. Теперь представьте себе ситуацию 2: несколько миллионов московских клерков, работающих в центре города и пытающихся минимизировать время на дорогу до дома, в 17:30 сверяются с «Яндекс. Пробками», чтобы выяснить, где еще остались «зеленые коридоры». Принимая решение о выборе маршрута, они все пользуются одним и тем же инструментом репрезентации («Яндекс. Пробками»). Каждый из них действует рационально. Но отсроченным эффектом их рациональности будет невиданный затор в тех пунктах прохождения, которые выглядели оптимальными с точки зрения «Яндекс. Пробок». Инструмент решения проблемы (сервис, повышающий информированность «игроков») привел к непредсказуемому осложнению, как только стал использоваться всеми рациональными агентами.

Этот эффект описал Дональд Маккензи на примере краха рынка опционов [MacKenzie 1987]. Пока трейдеры старой закалки торговали, опираясь на свою интуицию и прогностические способности, рынок оставался стабильным. Когда формула Блэка – Шоулза – Мертона, разработанная университетскими экономистами для снижения рисков, набрала популярность

и составила конкуренцию «торговле по старинке», рынок все еще демонстрировал уверенный рост. Но как только трейдеры нового поколения (презрительно именуемые их старшими оппонентами *sheet-monkeys*) победили и математическая формула стала общим основанием для принятия решений почти всеми игроками, рынок рухнул. Как если бы несколько тысяч московских клерков встретились на одном участке Третьего транспортного кольца.

Здесь возникает ряд теоретических вопросов. О какой рациональности идет речь? Калькулятивной, «чистой», логической рациональности экономистов или практической, нерелексивной, повседневной рациональности социологов? Как связаны между собой рациональность и интенциональность действия? Рациональность и информированность? Что входит в категорию структурного ограничения? Всё – от архитектуры станций метро до пропускной способности Третьего транспортного кольца? Какую роль тогда играют инструменты принятия решения – «Яндекс. Пробки» и формула Блэка – Шоулза – Мертона? Означает ли выбор в пользу концептуализации «город – это неинтенциональный эффект интенциональных действий» отказ от бурдэвистской категории социального пространства?

Энтони Гидденс попытался разобраться с этими вопросами в своей теории структуризации [Гидденс 2003]. Его концептуальная модель допускает совмещение идеи «практического разума» как ключевой характеристики социальной практики и фокусировки на отсроченных эффектах рациональности (столь ценных для классических экономистов и потому депортированных из Бурдэполиса). Давайте посмотрим, что при такой смене оптики произойдет с концептуализацией рассмотренного нами выше феномена – феномена сегрегации городского пространства.

Мысленный эксперимент Гидденса выглядит следующим образом:

Представьте себе шахматную доску с расположенными на ней наборами пяти- и десятицентовых монет, которые, подобно индивидам, живущим в городской зоне, рассредоточены по этой доске в случайном порядке. Предполагается, что, несмотря на тот факт, что явная враждебность друг к другу отсутствует, члены одной группы не хотят жить по соседству с членами другой, ибо в таком случае они оказываются в этническом меньшинстве. Каждая монетка перемещается по шахматной доске до тех пор, пока не оказывается в положении, при котором по меньшей мере 50 % сопредельных монет принадлежат к той же группе, что и она. В результате мы получаем модель максимальной сегрегации. Десятицентовые монеты образуют своего рода гетто среди пятицентовых соседей. Подобный «эффект композиции» является следствием совокупности действий – тех, кто передвигал монеты по доске, или посредников, функционирующих на рынке недвижимости, – каждое из которых носит преднамеренный (или умышленный) характер. Вместе с тем конечный результат никто не планировал и не желал. Как таковой он принадлежит всем и никому [Гидденс 2003: 50].

И все. Больше никакого социального пространства с его структурами и различиями. Никаких ресурсов, в погоне за которыми агенты мечутся между Правым берегом и Монмартром. Никаких исторически сложившихся диспозиций, обеспечивающих особый статус Юго-Западу и Малой Стране. Сегрегация оказывается просто непреднамеренным эффектом преднамеренных действий. Социальное и физическое пространство – не более чем эпифеномены повседневного-рациональных практик⁸.

⁸ Справедливости ради стоит отметить, что в своем описании повседневной рациональности горожан и непреднамеренных эффектов их рациональных действий Гидденс использует городскую сегрегацию исключительно в качестве иллюстрации. Более того, приводимый им мысленный эксперимент – это просто пересказ популярного сюжета в теории игр и теории ограниченной рациональности, так называемой модели Шеллинга [Schelling 1972]. Развитие этой модели в современных город-

Будем откровенны, модель Гидденса выглядит куда менее убедительной, чем модель Бурдьё. Какое бы отвращение современный теоретик ни испытывал к образу всепроникающих социальных структур – упорядочивающих практики, объективирующихся в телах и территориях, увязывающих габитусы и габитаты, – представить себе абстрактных индивидов, разбросанных в гомогенном пространстве как монеты на шахматной доске, ему еще сложнее. Но Гидденс делает важный теоретический ход: снимает с первой орбиты концептуализации «социальное пространство» и переносит акцент на «практики». (Еще радикальнее поступят в решении этой задачи исследователи-этнометодологи.)

Столкновения, которые мы наблюдали на границе Бурдьёполиса и Гидденсграда, – лишь один из примеров реконцептуализации. Два языка описания (в действительности – куда больше) борются за право «схватить» (*grasp*), различить, описать и объяснить феномен городской сегрегации. Но в зависимости от того, будет ли городская сегрегация понята как непреднамеренный эффект преднамеренных действий или как результат объективации в физическом пространстве социальных дистинкций, мы получим две совершенно различные городские сегрегации. Единственное, что их объединяет – внимание к практическим действиям конкретных городских агентов.

Любопытно, что идея «города в действии» – центральная и для Бурдьёполиса, и для Гидденсграда – вовсе не является само собой разумеющейся, очевидной и неоспоримой. Как и любая концептуализация, она контингентна. И тем не менее именно она всегда составляла основную альтернативу другой социологической модели мышления – концептуализации города как пространства социальных связей, – кристаллизовавшейся в теории сообществ. О том, что принесла с собой идея сообщества в городские исследования, мы поговорим в следующей главе. А пока коротко обозначим собственные аксиоматические допущения.

Город: модель для сборки

Теория устанавливает всякий раз определенную форму действительного как свою предметную область. Каждое явление, выступающее внутри той или иной области науки, обрабатывается до тех пор, пока не начинает вписываться в определяющую предметную структуру теории.

М. Хайдеггер

Мы исходим из того, что всякая социальная теория (сконструированная рефлексивно или принимаемая на веру по наитию) – это в первую очередь некоторый ресурс воображения. Центральная характеристика теоретической конструкции – представимость мира ее средствами. Наука, по меткому замечанию Хайдеггера, «сталкивается всегда только с тем, что допущено в качестве доступного ей предмета ее собственным способом представления» [Хайдеггер 1993: 62], а потому пополнение арсенала способов представления, техник воображения и мышления – особая область теоретической работы.

Мы также принимаем как не требующий доказательств тезис о существовании «нелогического ядра логически выстроенной теории» (К. Поппер), об уровне «невопрошаемого» в социологическом теоретизировании. Феноменологическая философия вооружила социологию идеей «ерош́е естественной установки» [Шюц 2003] – представлением о необходимости перестать сомневаться в реальности мира для существования в этом мире. Чтобы сороконожка могла сделать хотя бы шаг, она должна запретить себе задаваться вопросом «С какой ноги ходить?». С тем же основанием мы можем говорить об «ерош́е рефлексивной установки» социального ученого – о приостановке сомнения в собственных аксиоматических допущениях. Сомнение в аксиомах блокирует дальнейшее рассуждение. Исследователи «городской мобильности» не ставят под вопрос «перемещения людей, товаров и идей» – иначе им просто нечего будет сказать [Урри 2012]. Аналогичным образом и исследователи «порядков повседневного взаимодействия лицом к лицу» [Гофман 2000] не сомневаются в наличии у людей лиц. (Впрочем, мало не сомневаться в существовании «городских мобильностей» или «выражения лица» – нужно научиться не сомневаться в их значимости для исследования.)

Аксиомы имеют не логическую, а имагинативную, образную природу. Мы исходим из того, что в основе любого социологического (и, вероятно, не только социологического) исследования лежит имплицитный образ изучаемого объекта. Имплицитные образы предпосланы концептуальным определениям и составляют их «твердое ядро», между собой образ и концепт соотносятся как аксиоматический и теорематический уровни знания.

Образы носят дологический и контингентный характер. С этим тезисом, по всей видимости, не согласились бы классики марксизма, для которых

предпосылки... не произвольны, они – не догмы; это действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении... Это – действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем [Маркс, Энгельс 1955].

Впрочем, данное утверждение классиков также аксиоматично и само по себе не может быть установлено эмпирическим путем, оно связано с имплицитным представлением о «действительных индивидах» и «материальных условиях их жизни» как о наиболее прочных основаниях нашего знания о мире.

Имплицитные образы объекта, лежащие в основе теоретических описаний, зачастую принимают вид метафор⁹. Фундаментальные метафоры «общество как организм», «общество как высшее существо» или «общество как система» предпосланы социологическим описаниям, выполненным в технике «социетального реализма». Социология науки оперирует иным набором фундаментальных метафор¹⁰: «наука как политика», «наука как язык», «наука как этикет» и т. п. У социологии города – свой набор метафорических инструментов.

Аксиоматика (посредством метафор) определяет оптику теории. Оптика – это стратегия взгляда. Исследователь видит мир таким, каким его делает доступным взгляду его собственный теоретический словарь. Изменяя «настройки» теории, мы изменяем пространство ее оптических возможностей.

Оптика задает горизонт проблематизации. Операция проблематизации – постановки под вопрос, представления какого-то аспекта изучаемого объекта в образе «черного ящика» – возможна благодаря несомненности аксиом и ясности оптик. Поэтому эпистемическая проблема, проблема, которую можно исследовать в пределах выбранных различий, – это всегда результат осмысленных усилий проблематизации и никогда не свойство самого объекта.

Наконец, последняя предпосылка нашего анализа: оптика является условием практики. В конечном итоге исследователь может действовать лишь в границах «видимого»; поскольку используемые им понятия являются «условиями видимости» изучаемых им объектов, всякое исследовательское действие – то есть действие эпистемическое, направленное на приращение знания об объекте – оказывается «оптически заданным»: невозможно изучать то, чего нет в словаре исследователя. А потому «теория» (выбранная осознанно или принятая имплицитно) есть в любом эпистемическом действии.

Аналогично: способность к самонаблюдению и самоописанию потенциально заложена в любом исследовательском языке. Из этого не следует, что рефлексия социального ученого – обязательный компонент его работы. Среднестатистический российский социолог может бесконечно долго рассуждать о «социальной и исторической детерминации форм знания» на примере «массовых представлений» «среднестатистических граждан» Российской Федерации, возводя генезис таких представлений к «негативной идентичности людей» и «историческим травмам», полученным ими в результате «распада Советского Союза» [Гудков 2011]. Однако требуется мужество, чтобы признать: тогда и его собственные объяснения имеют сходное происхождение, а значит, обусловлены его, исследователя, исторической травмой. Оптические возможности социолога всегда ограничены: зоны видимости окружены слепыми пятнами. Порой слепым пятном для исследователя оказывается сам исследователь.

Иллюстрацией такого образа науки служит метафора радара, который позволяет наблюдать самолеты задолго до их появления в зоне прямой видимости. Для того чтобы оператор мог их различить, в систему уже должно быть заложено отображение некоторого сегмента пространства в условную координатную плоскость, представленную на мониторе, а помимо этого – сложная совокупность идентификаций и различий («самолет/несамолет», «свой/чужой» и т. п.). При этом у нас никакой «зоны прямой видимости» нет. Никто не видел «социальных установок» и «российского общества» воочию. Кажется, что «выражения лиц» в отличие от социетальных структур доступны прямому наблюдению, но это тоже обман зрения: социологическое понятие *facework* [Goffman 1967] имеет с «выражением лица» такое же отдаленное сходство, как ползущая по монитору точка – с самолетом. То же самое относится и к

⁹ Сам по себе образ не тождествен метафоре. Можно сказать, что метафора представляет собой одну из форм бытования дотеоретического образа – форму, которая делает возможной его последующую теоретическую обработку и превращение в концепт. Мы исходим из того, что метафоры не рядоположны концептам и потому принадлежат, скорее области дотеоретического, нежели собственно теоретического знания, но к этому тезису мы еще вернемся.

¹⁰ Фундаментальными здесь и далее называются метафоры, служащие для описания объекта (суб)дисциплины в целом и выполняющие функцию демаркации, первичного различения объекта / необъекта.

городской жизни. Никто из нас не видел города как города. На город нельзя указать пальцем. Система локации создает лишь референции своих объектов на мониторах благодаря своим собственным средствам представления. Как замечает по этому поводу французский эпистемолог Ж. Никод:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.